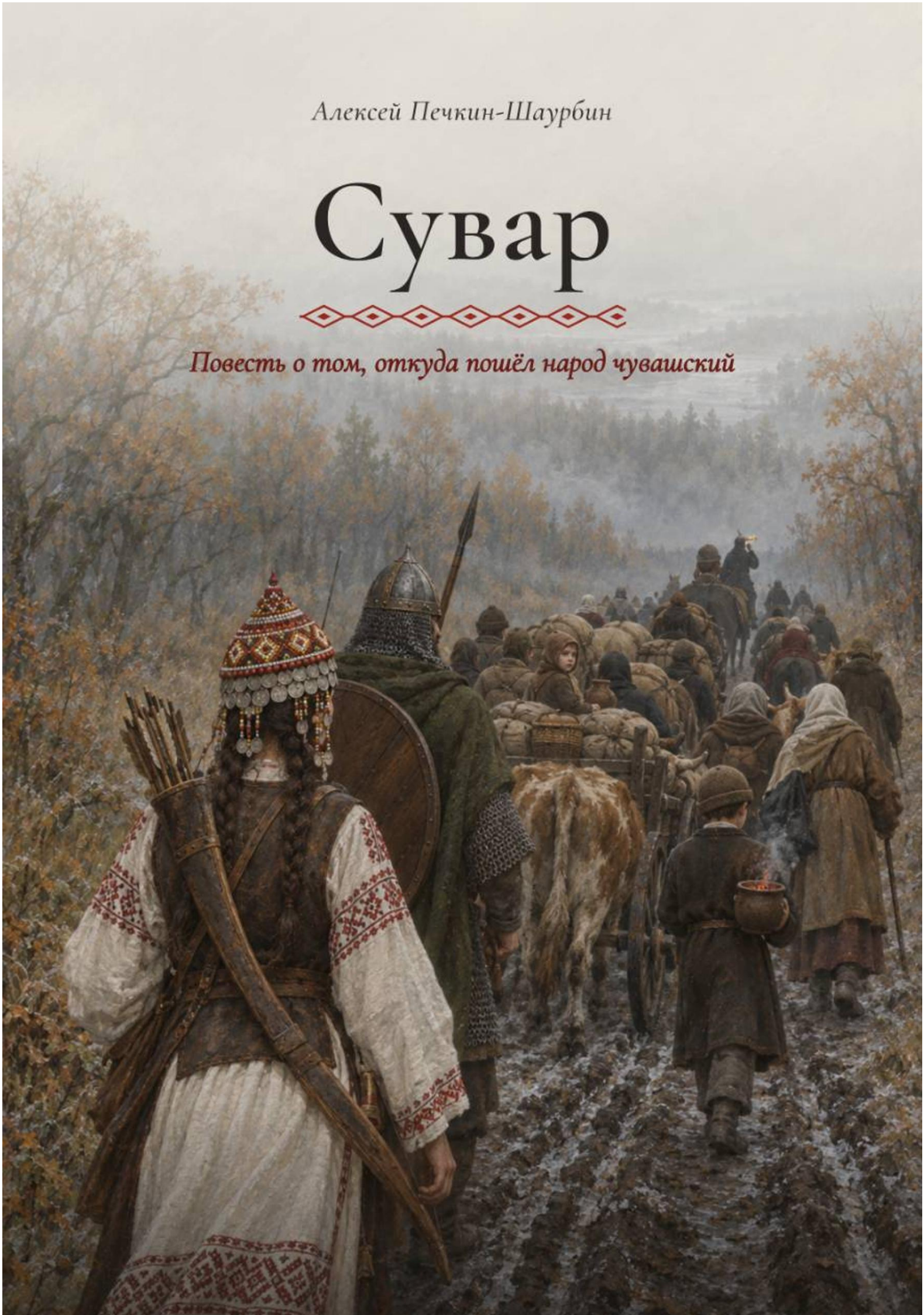
Алексей Печкин-Шаурбин

Сувар

Повесть о том, откуда пошёл народ чувашский



Сувар. История Чувашского народа через повесть

Алексей Печкин

Сувар. Повесть о том, откуда пошел народ чувашский

«Автор»
2026

Печкин А. В.

Сувар. Повесть о том, откуда пошел народ чувашский / А. В. Печкин — «Автор», 2026 — (Сувар. История Чувашского народа через повесть)

Лето 1223 года. На Волге ещё торгуют, жнут и празднуют, но с юга уже идут вести: на Калке разбиты русские и половцы, и та же сила поворачивает сюда.Атнер — сувар из лесного села и командир булгарского авангарда. Ему велено собрать тех, кто согласится встать вместе: сувар, буртасов, марийских ведуний, наёмников с Алтая, вчерашних врагов из русской дружины. Рядом с ним всегда человек с книгой — казначей Хасан-бек, который считает всё: людей, меры зерна, дни поста и чужие смерти.Эту историю рассказывает бабушка Нина Васильевна своим внукам на кухне в наши дни, — как семейную легенду о далёком предке. Так, по преданию, и появился чувашский народ.

© Печкин А. В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Атнер 6
Пролог. Пироги для тех, кого поминаем 8
Часть I. Зов дубрав 13
Глава 1. Тяжёлая земля 13
Глава 2. Камень и хмель 21
Глава 3. Восемь раз шёл 28
Глава 4. Ровное место 36
Глава 5. Десятина головами 44
Глава 6. Зола 54
Глава 7. Столб без имени 63
Глава 8. Порядок слов 71
Глава 9. Слово после каши 80
Интерлюдия I. А они злые были? 87
Конец ознакомительного фрагмента. 90

Алексей Печкин
Сувар. Повесть о том, откуда пошел народ чувашский

Атнер



Атнер

Пролог. Пироги для тех, кого поминаем



рамка: бабушка с внуками
Нина Васильевна. Октябрь, наши дни

Тесто я ставлю с вечера, под полотенце, и ночью два раза встаю на него посмотреть. Мать так делала, и бабушка, и я не знаю, кто это придумал первым, но если не встать — оно обижается и садится. Так что к утру у меня ноги гудят, а тесто стоит как надо, пышное, и пахнет на всю избу.

Садитесь, садитесь. Коля, положи телефон, никуда он не убежит. Лиза, учебник убери со стола, я сюда противень ставлю. Потом дочитаешь.

Пироги с капустой — ешьте, пока тёплые. С мясом — вон те, с защипом. Эти не трогай. Эти на стол, для тех, кого поминаем.

— Их же всё равно никто не ест, — говорит Коля.

— Они и не для еды.

— А для чего?

— Для того. Садись.

Он садится и смотрит на тарелку, как будто оттуда сейчас кто-нибудь возьмёт. Никто не возьмёт. Вечером я их отнесу курам, а тарелку помою, и так каждый год. Бабушка говорила: мёртвым не пирог нужен, им нужно, чтобы про них вспомнили, когда тесто ставили. Пирог — это чтоб мы не забыли, что вспомнили.

Октябрь у нас месяц такой. По-старому он *юпа уйăхĕ*«месяц столба». Раньше в октябре на могилах ставили столбы — мужику дубовый, бабе липовый, — и поминали всей деревней, с пивом, с песнями, шумно. Сейчас на кладбище памятники железные, со звёздочкой, с крестом, кто как. А пироги остались. Пироги всегда остаются, их проще нести.

* * *

По паспорту я Нина Васильевна. А бабушка звала меня Эрнепи.

— Это как Нина по-чувашски? — спрашивает Лиза. Ей пятнадцать, она всё спрашивает так, будто я на экзамене.

— Нет. Это никак по-русски. Это имя.

Так звали самую первую мать в нашем роду, про которую ещё помнили. Бабушка говорила: имя не пропадает, пока его кто-нибудь носит. Вот я и ношу. В школе меня так не звали, в сельсовете тоже, и на работе на ферме — Нина Васильевна, Нина Васильевна, — а дома бабушка звала только так. Она вообще никого не звала по паспорту. Деда вашего звала по деду, соседку — по двору. «Чей ты и откуда» — это она у любого нового человека спрашивала, даже у фельдшера. Фельдшер молодой был, из города, растерялся, сказал номер больницы. Бабушка потом смеялась до вечера.

Коля, ты опять телефон взял.

— Я время смотрю.

— Время у меня на стене. Вон, с кукушкой. Кукушка, правда, не кукует с девяносто восьмого года, но время показывает.

* * *

Видели, когда в район ездили, за лесом, справа, земля горбом? Длинно так, а по верху берёзы? Это валы Таяпы. Там в старину город стоял, крепость. Историки приезжали, копали, в учебнике у Лизы, может, и про это есть — я не смотрела.

Раньше наши жили там, в Таяпе. Не на валах, а рядом, в деревне. Бабушкина бабушка оттуда. Потом переехали сюда — почему, не знаю, не спрашивайте. Двор тот давно чужой, и чей он теперь — тоже не знаю. А место наше. Когда мимо едешь, у меня всегда шея сама поворачивается. Дед ваш ругался: смотри на дорогу, говорит, мать, а не на горы.

Меня бабушка туда водила один раз, пешком, мне лет девять было. Шли полдня. Я думала, там что-то есть — ну, стены, ворота, как в кино. А там трава и коровы пасутся. Бабушка встала наверху, постояла, ничего не сказала, достала из платка яйцо варёное, облупила, половину мне дала, половину сама съела. Скорлупу в траву положила. И пошли обратно. Я всю дорогу ныла, что ноги болят. А теперь думаю: надо было спросить, зачем скорлупу.

— А мы откуда? — спрашивает Коля. — Ну, вообще.

Вот. Вот об этом я и хотела.

Я расскажу, откуда мы. Мне рассказывала бабушка, ей — её бабушка, а той — ещё кто-то, и так далеко назад, что я уже не знаю, где там правда, а где песня. Бабушка говорила так, а тётя Марья, царство ей небесное, — по-другому. Они из-за этого, бывало, по неделе не разговаривали. У тёти Марьи всё было длиннее и страшнее, и люди у неё были выше ростом. А у бабушки — короче, и люди маленькие, и все голодные. Я бабушке больше верю. Но я и тётю Марью буду говорить, где помню, чтобы честно.

Песни у нас хорошие. Только в песнях все высокие и никто не боится. А они боялись.

* * *

Рассказывала бабушка зимой. Летом какие рассказы — летом огород, сено, корова. А зимой вечер длинный, свет тогда давали до десяти, и мы сидели на печи, а бабушка внизу щипала перо на подушки. Гусиное. Перо летает, в носу щекотно, лампа гудит, а она щиплет и говорит. Пух в одну корзину, перо в другую, и так весь вечер. Я до сих пор, как пух увижу, так у меня в голове сразу: «Был в нашем роду человек…»

Она не с начала рассказывала, а откуда вспомнится. Один вечер про коня, другой про паромщика, третий про какую-то старуху, которая всех считала. А я потом лежала и склады-

вала, что за чем. Складывала-складывала, лет до тридцати складывала. Может, и не так сложила. Вы меня поправьте потом, когда своим детям будете рассказывать.

— Я не буду, — говорит Коля.

— Будешь. Куда ты денешься.

Лиза листает учебник, она всё-таки не убрала его, положила на колени под стол.

— Вот, — говорит. — «Население Волжской Булгарии составляли булгары, сувары, барсилы…» Сувары. Это кто?

— Это мы.

— В смысле — мы?

— В прямом. Раньше так себя звали. Бабушка говорила: мы тогда были не чуваши, а сувары. А чуваши мы потом стали, когда ушли. Только ушли не все, говорила. Сувар было много, как травы в поле. Ушли те, кто не захотел чужой веры и чужого торга людьми. А про остальных — это потом, другой рассказ. А откуда сами сувары взялись — это вам лучше другой дед расскажет, папин, когда приедет. Он любит. Он говорит, мы от гуннов, с самим Аттилой ходили, и Рим перед нами ворота открывал. Я не знаю. Я бабка, я про своих рассказываю, про тех, кого помню.

— Откуда ушли?

— Вот про это и рассказ. Дай доскажу, а потом спрашивай.

Лиза подчёркивает слово карандашом. В учебнике. Я ей не говорю, что нельзя, учебник библиотечный. Пусть подчёркивает. Может, хоть кто-нибудь после неё прочтёт и спросит у своей бабушки.

* * *

Был в нашем роду человек, Атнер.

— Это твой дед? — спрашивает Коля.

— Какой дед. Сколько раз «пра» перед «дед» — не сосчитаю, пальцев не хватит.

— Возьми мои.

Он протягивает руки через стол, прямо над пирогами. Я беру его руки, и мы считаем вместе: пра, пра, пра. На седьмом Коля начинает смеяться, на десятом я сбиваюсь.

— И твоих не хватит. И Лизиных. Ешь, Коля.

Говорят, у него было золотое лицо. Бабушка смеялась: не лицо это, а маска такая, железная, позолоченная, — а люди запомнили «золотое лицо», потому что так красивее. По-чувашски — *Ылтăн Пит* «Золотое лицо». Его так при дворе прозвали, при эмире. Бабушка говорила — в насмешку прозвали, а он носил, как будто так и надо. Тётя Марья говорила — никакой насмешки, за храбрость дали. Я думаю, бабушка права. За храбрость дают не маску, за храбрость дают коня.

— А зачем ему маска? — спрашивает Лиза.

— Воевал он. В железе тогда воевали.

— В учебнике на картинке у них шлемы. Без масок.

— Значит, в учебнике другой человек нарисован.

Лиза фыркает и открывает учебник обратно. Пусть открывает. Я её не за столом учу, а за жизнь.

Это было, когда с востока пришли в первый раз. Про Булгар вам в школе расскажут, там в учебнике есть. Карта со стрелочками. Стрелочки — это они шли, одни красные, другие синие.

— Там и про тысяча двести тридцать шестой год есть, — говорит Лиза. — Что Булгар сожгли.

— Есть. Это потом было. Это другой раз.

— А первый раз когда?

— Раньше. Бабушка говорила: за тринадцать лет до того. Она это число всегда говорила, «тринадцать», а больше никаких чисел не говорила, ни одного года. Я уж потом, когда взрослая стала, в библиотеке посчитала.

А про нас в учебнике нет. Про нас есть только я.

* * *

Подожди, у меня там противень.

Вторые пироги подрумянились сверху, а снизу бледные. Это у меня печь такая, газовая, ей сто лет в обед, она сверху жарит, а снизу думает. Бабушкина была русская печь, та пекла ровно, но её разобрали, когда газ провели. Я тогда плакала, а мне было уже сорок лет.

Коля, эти горячие, не хватай. Подуй.

— А тогда тоже с капустой пекли? — спрашивает он с полным ртом. — Ну, при Атнере.

— Не знаю. Бабушка говорила — с *пăри*«полбой». Крупа такая. Ещё с репой. С мясом, если было.

— С картошкой.

— Картошки тогда не было.

Коля перестаёт жевать.

— Как не было?

— Так. Не было, и всё. Её потом привезли, из Америки.

— А что тогда ели?

— Репу, говорю. Кашу. Хлеб.

Он смотрит на пирог у себя в руке, как будто пирог тоже сейчас окажется не отсюда. Лиза говорит: «Коля, это в пятом классе проходят». Коля говорит, что он в четвёртом. Я говорю: вот и хорошо, значит, узнал заранее.

Я сама в детстве пробовала с полбой, бабушка один раз пекла, специально, на поминки. Невкусно. Сухо и жуётся долго. Бабушка сказала: зато по-старому, им там приятно. Я спросила — кому им? Она показала на тарелку.

Про Атнера бабушка всегда начинала одинаково. Не с войны. Она говорила: у него мать была. Эрнепи. Жила в деревне на нашей стороне Волги, а сын служил за Волгой, в городе, у эмира, и приезжал к ней редко. И когда приезжал — она первым делом смотрела не на сына, а на коня. Потный ли конь. Бабушка это место любила и всегда показывала руками, как мать берёт коня за повод, а на сына не смотрит. А мне было лет семь, и я обижалась за Атнера.

— А конь у него какой был? — Коля коней любит, у нас в деревне их уже не держат, так он у ветеринара на кобылу ходит смотреть.

— Кăвак его звали. *Кăвак*«Сивый». А сам был гнедой.

— Почему тогда Сивый?

— Вот и бабушка так спрашивала, когда маленькая была. А ей говорили: потому что первый был сивый. А этот — третий. Имя-то осталось.

Коля долго думает с пирогом во рту.

— Как у нас кошки. Все Мурки.

— Как у нас кошки, — говорю я. — Точно.

* * *

Тётя Марья рассказывала, что Атнер был высокий и рыжий. А бабушка говорила — невысокий и чёрный, в мать, и лицо узкое. Они из-за этого не разговаривали одну зиму, всю, до Масленицы. На Масленице бабушка испекла блинов и понесла к тёте Марье, и та открыла

дверь и сразу сказала: «Ладно, пусть чёрный». А бабушка сказала: «Нет, пусть рыжий, мне не жалко». И они сели есть блины и опять поругались, но уже про другое.

Лиза смеётся. Это хорошо. Она у меня редко смеётся, всё в телефоне, у неё там подруги, а подруги, я так понимаю, не смешные.

— Бабушка, а это правда было? Или сказка?

Я вытираю руки о фартук. Мне сразу надо ответить, а то она решит, что я вру.

— Было. Что было — было. А как было — я не знаю. Мне это рассказывали восемьсот лет подряд, только разные люди. Каждый что-то потерял, каждый что-то добавил. Где у меня Атнер боится — это, я думаю, правда. А где он никого не боится — это, я думаю, уже песня.

— А как ты отличаешь?

— А никак. Я рассказываю, как бабушка. А где она говорила «так в песне поётся» — я тоже так говорю.

— Это ненаучно, — говорит Лиза.

— Конечно, ненаучно. Это же не наука. Это наши.

* * *

За окном темнеет рано, октябрь. У соседей топят баню, дым стелется по огороду низко, к дождю. Тарелка на краю стола стоит, пироги на ней остыли и чуть присохли. Я поправляю на ней полотенце.

Бабушка перед этим всегда что-то шептала. Я не помню что. Я была маленькая и не слушала, а когда выросла и спросила — она уже плохо говорила. Сказала только: «Там вторая строка есть, я её не помню. Ну и не надо, так тоже можно». И засмеялась. А мне потом всю жизнь было обидно, что я не спросила раньше.

— Ну рассказывай, — говорит Коля. — Про войну. Он победил?

— Победил.

— А потом?

— А потом ушли.

— Почему? Если победил?

— Вот до этого и доживёшь, если телефон не возьмёшь. Будет тебе война. Не торопи.

Я сажусь напротив них, с краю, чтобы до духовки рукой достать. Сажусь и не знаю, с чего начать, хотя сто раз рассказывала — вашей матери рассказывала, и соседским, и в школе один раз, когда учительница попросила «про традиции». В школе я плохо рассказала. Там все смотрели, и я всё время говорила «как бы». А бабушка никогда не говорила «как бы». Она говорила: «было так».

Они ведь не сразу воевали. Они сначала жили. Лето было, июнь. У нас в июне раньше, после Троицы, была такая неделя, *Çинçе*«неделя, когда землю не тревожат». Считалось, что земля в эти дни тяжёлая, на сносях, как баба перед родами. Нельзя пахать, нельзя копать, нельзя лес рубить, баню топить нельзя, бельё стирать нельзя. Даже босиком по земле не ходили, чтобы не толкнуть. Все ходили в белом и ничего не делали. Бабушка говорила: это единственная неделя в году, когда у деревни были чистые рубахи.

— Прикольно, — говорит Коля. — Неделя ничего не делать.

— Прикольно. Только не в тот год.

Он откладывает телефон. Сам, я ничего не говорила. Кладёт экраном вниз, рядом с тарелкой для тех, кого поминаем.

Летом того года земля была тяжёлая. Копать её было нельзя.

Часть I. Зов дубрав

Глава 1. Тяжёлая земля



Курак



Çинçе у ямы

Атнер. Степь южнее Луки, 10–13 июня 1223 года

Трава на гребне была сухая сверху и сырая у корня, и к полудню рубаха на животе промокла насквозь. Атнер лежал, сдвинув личину на лоб. В ней не было видно вниз: прорези пробивали под чужие глаза, для человека, который сидит в седле и смотрит перед собой. Вниз приходилось смотреть своими. Личина лежала на лбу тяжело и тепло, нагретая солнцем, и позолота на переносице, протёртая до серого железа пятном в ноготь мизинца, пахла потом и старым войлоком, подложенным изнутри под скулы: личина была чужая, со шлема умершего десятника, и была ему велика.

Балка уходила к реке широким языком. По дну её шла дорога, у брода она сужалась между водой и склоном, а дальше, на той стороне, опять расходилась в степь. Над дорогой, далеко, на день конного пути, стояла пыль. Не поднималась, а стояла, низко, как стоит над стадом.

— Шесть повозок, — сказал Атнер.

Считал он вслух, ровно, как считают меры при ссыпке. Десятник Салих лежал рядом и повторял за ним одними губами.

— Девять верховых. Двое при пеших, в хвосте. Остальные впереди. Кони поены недавно, идут неторопко.

— Пеших сколько?

— Отсюда не сосчитать. Много. На одной верёвке.

Салих прищурился и тоже не сосчитал. Он был старше Атнера лет на восемь, служил ещё при его отце и умел молчать так, что это не было обидно. Сейчас он помолчал и сказал:

— Их девять. Нас четырнадцать.

— Это не много, — сказал Атнер. — Это ровно.

Он смотрел, как идёт пыль. Пешие задают шаг всему конвою, а пешие на верёвке ходят медленно. К броду они выйдут послезавтра к вечеру. Может, на третий день утром. Больше им здесь идти некуда: левее болото, правее склон, а верховые не станут гнать пленных через болото, если есть брод.

Атнер отвёл руку и вдавил палец в землю у самого края гребня. Земля подалась, прохладная, тёмная, и выпустила палец неохотно, с чавком.

Он обернулся назад, в лощину, где стоял отряд. У повозок обозные разбирали узлы, и один за другим вставали уже в белом. Старый Уйăп натягивал через голову *кĕпе*«белую рубаху», путался в рукаве и ругался — отсюда не было слышно, но видно было, что ругается. Курак, старший обозный, стоял уже одетый и держал в руках свою серую рубаху, не зная, куда её деть, чтобы не на землю.

Сегодня начиналось *Çинçе*«неделя, когда землю не тревожат».

— Земля тяжёлая, — сказал Атнер. — По обычаю сегодня копать нельзя.

Салих был булгарин из Болгара и про Çинçе знал то, что знает городской человек про чужие праздники: что-то деревенское, в белом.

— А по приказу?

— А по приказу — надо к вечеру. — Атнер поднялся на колени, потом встал, стряхивая с живота траву. — Вот и живи между.

* * *

Приказ был устный. Его отдали в Болгаре, в сенях палаты наместника, вполголоса, и человек, который его отдавал, смотрел не на Атнера, а на дверь. Пройти по правому берегу вниз, до Луки и дальше, сколько получится. Посмотреть, кто ходит по степи. Самим не показываться. Если выйдет — привести языка.

Письменного приказа не было, потому что по письменному выходило, что отряд эмира ходит там, где ходить не положено. Столица хотела знать, что делается за Лукой, и не хотела, чтобы кто-нибудь знал, что она хочет это знать. Атнер это понимал и не обижался. В столице так было со многим.

Про тех, кто шёл с востока, в Болгаре говорили по-разному и всегда тихо. Купцы из Хорезма рассказывали, что Хорезма больше нет. Купцы с Кавказа — что те прошли горы, где конь не проходит. Половецкие торговцы кожами приезжали весной злые и ничего не рассказывали, только быстро продавали и уезжали. Кто они такие и сколько их, в Болгаре не знал никто. Знали, что они есть и что сейчас они где-то между Доном и Волгой.

Теперь их было девять верховых и шесть повозок, и Атнер знал про них больше, чем весь Болгар.

Отряд стоял в лощине у ручья: четырнадцать всадников, пятеро обозных, три повозки. Всадники были казённые, из авангарда, почти все булгары, двое кыпчаков на службе и один сувар из-под Сувара, который по-суварски говорил хуже Атнера. Обозных дали с правого берега в счёт подводной повинности, вместе с повозками и лошадьми. Все пятеро были сувары, все пятеро старше сорока, и все пятеро с утра стояли в белом.

Курак увидел Атнера, спускающегося по склону, и сразу пошёл навстречу, но не дошёл шагов пяти и остановился. Серую рубаху он так и держал в руке.

— Видел? — спросил Курак.

— Видел.

— Много?

— Ровно.

Курак кивнул, будто ему сказали то, что он и так знал. Он был из Хурăнвар, из маминой деревни, через два двора от Ятманова, и помнил Атнера мальчишкой. Прошлой осенью, говорили, он копал Ятману могилу. Атнер про это не спрашивал. Курак не рассказывал.

— Лопаты где? — спросил Атнер.

— На второй повозке. — Курак помолчал. — Под рогожей.

— Достань.

— Достану.

Он не двинулся. Посмотрел на рубаху в своей руке, свернул её вчетверо и положил на колесо повозки, повыше.

* * *

Вечером Атнер обошёл балку пешком, с Салихом и одним из кыпчаков, и считал шаги. От брода вверх по дороге — сорок. Там, где склон подходил ближе всего, дорога шла шириной в четыре телеги. Если выкопать ямы в два ряда поперёк, а между рядами оставить проход в одного коня, про проход будут знать трое: он, Салих и Кăвак. Если на склоне повалить сухостой и заложить его ветками, получится засека, за которой встанут лучники. Если на том конце балки, за ямами, поставить две старые повозки, развести днём огонь и бросить у огня пару котлов, то сверху это будет похоже на купцов, которые испугались и разбежались, не доварив.

— Девять ям, — сказал Атнер. — По яме на верхового.

— На каждого не хватит, — сказал Салих. — Кто-нибудь да обойдёт.

— Кто обойдёт — того на засеку.

Кыпчак, молодой, с рыжей бородкой, спросил на ломаном булгарском, почему копать завтра, а не сейчас, пока светло. Атнер сказал, что сейчас темнеет. Кыпчак посмотрел на небо, где было ещё светло, и больше не спрашивал.

Ночью Атнер лежал у повозки и слушал, как обозные разговаривают у ручья. Слов не было слышно. Был голос Уйăпа, высокий, недовольный, и был голос Курака, который отвечал коротко и редко. Потом кто-то из них засмеялся, и они замолчали оба.

Атнер знал это слово раньше, чем слово «Болгар». Однажды мать не дала ему снять с плетня мокрую рубаху: нельзя, земля слушает, у неё сейчас дитя. Ему было лет шесть, мать тогда только привезла его в Хурăнвар от городского мора. Рубаха так и провисела до вечера, и он ходил голый до пояса и всем говорил, что это из-за земли.

* * *

Яму начали на рассвете, пока трава была мокрая.

Обозные стояли с лопатами и не копали. Никто не сказал «нет» — командиру «нет» не говорят, — они просто смотрели на Атнера так, как смотрят на человека, который сейчас пнёт собаку. Курак поправил пояс и отвернулся к реке.

— Çинçе, — сказал он реке.

Всадники стояли поодаль, у коновязи, и ждали, когда им тоже дадут лопаты. Им было всё равно. Им было жарко заранее.

Атнер знал. Он знал, какая сегодня неделя, и знал, что эти пятеро стариков с рассвета ни разу не ступили на землю босой ногой, хотя до ручья было двадцать шагов, а сапоги у них рваные.

Конвой будет здесь через два дня. Может, через три. Тот, кто идёт с востока, не ждёт, пока у земли кончится её неделя.

Атнер взял у Курака лопату, поставил остриё на дёрн и не нажал.

Потом снял шапку, и мужики за спиной перестали дышать — это было слышно.

— *Çырлах, çĕр хаярĕ*«Помилуй, грозная сила земли», — сказал он.

Дальше была вторая строка. Он помнил, что она есть, помнил даже, как мать на ней понижала голос, — а слов не помнил. Была трава, был запах реки и его собственная рука на черенке, большая и чужая. Он стоял и ждал, что строка придёт сама. Она не пришла.

Кто-то из всадников за спиной хмыкнул. Салих, не оборачиваясь, двинул локтем назад, и хмыканье кончилось.

Курак подождал вместе с Атнером. Потом достал из-за пазухи горбушку, отломил половину и положил на край дёрна, туда, где будет яма.

— Земля не писарь, — сказал он. — Ей и не целиком можно.

И первым нажал на лопату.

Ярмул потом говорил, что так нельзя и слова надо говорить до конца. Может, и нельзя. Но ямы в то лето стояли ровные, и ни одна не осыпалась.

За ним стали копать остальные. Уйăп копал, закрыв глаза, будто так было не так слышно. Атнер надел шапку, отдал лопату Хурçă, самому молодому из обозных, которому было лет сорок пять, и пошёл к коновязи.

Салих шёл рядом и молчал до самых коней. Потом спросил, глядя в сторону:

— Помогло?

— Не знаю.

— У нас перед делом говорят *бисмиллях*«во имя Аллаха». — Салих отвязал своего коня и подтянул подпругу. — Тоже не знаю, помогает ли. Мой отец говорил всегда. Умер от поноса, в постели. Значит, помогает, наверно.

Атнер не засмеялся, и Салих, кажется, на это и не рассчитывал.

— Молодой ваш хмыкнул, — сказал Атнер.

— Молодой, — согласился Салих. — Я ему потом объясню.

— Не надо.

— Надо. — Салих сел в седло. — Не про землю объясню. Про то, что при командире не хмыкают. Про землю я сам не знаю.

* * *

Два дня копали и молчали.

Дёрн резали квадратами, в две ладони, и складывали стопкой в тень, травой вниз, чтобы не пожух. Уйăп поливал стопки из шапки, ходил к ручью в сапогах и обратно в сапогах, и каждый раз, ступая на тропу, смотрел себе под ноги так, будто там кто-то спит. Землю из ям не бросали где попало, а носили в мешках к реке и высыпали в воду, чтобы на дороге не осталось рыжего. Ямы делали по грудь, узкие у дна, и на дно ставили колья. Колья тесали всадники: обозных к топорам Атнер не звал, и они сами не шли.

Сухостой на склоне повалили к вечеру первого дня. Повалили — громко сказано: там было десятка два кривых вязов, которые давно умерли стоя, и хватало толкнуть. Молодой кыпчак толкнул один, и вяз лёг с таким треском, что все обернулись на Курака. Курак рубил хворост для засеки и не поднял головы.

— Это он сам упал, — сказал Курак. — Я видел.

Атнер ходил от ямы к яме с жердью, мерил глубину и считал. Девять ям в два ряда. Между рядами тропа, в ширину коня, ровно, без камня. Сорок кольев. Две повозки на той стороне, одна без колеса. Два котла, из них один дырявый. Он считал это утром, в полдень и вечером, и каждый раз выходило одно и то же, и каждый раз ему становилось на полчаса спокойнее.

Ямы закрывали плетёнкой из ивы. На плетёнку клали дёрн, стык к стыку, и Уйăп, стоя на коленях, расправлял траву пальцами, стебель к стеблю, как расчёсывают ребёнку голову. Когда закрыли последнюю, отошли на склон и посмотрели. Дорога как дорога. Тропа между ямами не видна совсем.

— Хорошо лежит, — сказал Уйăп. Первое, что он сказал за два дня.

— Лежит, — сказал Курак. — До осени.

Потом Атнер водил Кăвака.

Кăвак стоял у коновязи на расставленных ногах, мотал головой от мух и смотрел на всех без интереса. Был он гнедой, невысокий, широкий, с короткой шеей, на рыси тряский, как

телега. Имя ему досталось от первого Кӑвака, дядькиного, который был сивый. Второго звали так же, а этого — потому что конюху было лень переучиваться.

— Отчего гнедого зовут *Кӑвак*«Сивый»? — спросил молодой кыпчак. Он всё спрашивал.

— Первый был сивый, — сказал Курак, не дожидаясь Атнера. — Этот третий. Имя переживёт всех, кого под него подведут.

— И тебя переживёт?

— Меня под него не подводили.

Атнер провёл Кӑвака по тропе между ямами шагом — туда и обратно. Потом рысью. Потом галопом, и на третий раз конь сам принял влево у второй ямы, где тропа чуть уходила, и сам выпрямился. На том конце Атнер развернул его на пятке, на месте, и повёл обратно. Кӑвак шёл спокойно. Он не боялся ни железа, ни огня, ни крика, он вырос при кузне в Хурӑнвар. Он боялся только настила над водой, а настилов тут не было.

Всадники смотрели, как конь десять раз проходит по траве там, где ничего не видно, и никто ничего не спрашивал.

* * *

На второй день в полдень Атнер опять лежал на гребне.

Пыль подошла ближе, и под ней уже можно было различить людей. Верховые ехали не строем, а как едут люди, которым всё равно, видят их или нет: двое впереди, трое сбоку от повозок, один отъезжал и возвращался. Кони под ними были мелкие, лохматые, и шли они, опустив головы. Даже отсюда было видно, что кони худые — у одного выпирали маклаки, как углы у сундука.

— Кони плохие, — сказал Салих.

— Кони долго шли.

Верховые были разные. Атнер ждал увидеть одинаковых, как их описывали в Болгаре купцы, — все на одно лицо, все в одном железе. А ехали разные: один сидел прямо и молодо, как сидят в семнадцать лет, другой, у второй повозки, сгорбился в седле и держал повод двумя руками, и, когда конь спотыкался, было видно, как ему больно в спине. Один ел на ходу. Один спал.

За повозками шла верёвка. На верёвке шли люди, по одному, по двое, и никто из них не поднимал головы. Сколько — Атнер опять не сосчитал: они шли неровно, сбивались, и счёт сбивался вместе с ними. Три десятка. Может, больше. У многих головы были светлые, русые, выгоревшие.

— Не половцы, — сказал Салих.

— Не половцы.

Больше они об этом не говорили.

Один из верховых, тот, что отъезжал и возвращался, отъехал ещё раз, поднялся на курган у дороги и остановился наверху. Стоял долго. Конвой ушёл вперёд на полверсты, а он всё стоял, и конь под ним не переступал.

— Смотрит, — сказал Салих.

— Смотрит. — Атнер лёг щекой на руку, чтобы не выставлять голову. — Этот вниз не пойдёт. Этот будет стоять наверху.

— Значит, уйдёт.

— Значит, уйдёт.

Салих подумал.

— Можно послать двоих за курган, заранее.

— Можно. Увидит, как двое заходят за курган. Тогда уйдёт раньше, и все восемь уйдут с ним.

Верховой на кургане повернул коня и неторопливой рысью пошёл догонять своих. Атнер провожал его глазами, пока он не скрылся в пыли, и думал, что это самый умный человек в конвое и что с ним ничего нельзя сделать. Есть такие люди в каждом десятке. У отца такой был, Салих. Отец говорил: береги его, он первый увидит.

— Послезавтра к утру, — сказал Атнер. — Не раньше.

— Ты говорил — к вечеру.

— Пешие устали. Вон, двое сели.

Внизу, в хвосте конвоя, верёвка остановилась. Двое пеших опустились на дорогу, и вся верёвка встала, потому что сидящих нельзя тащить за шею. Один из верховых повернул коня и поехал к ним шагом, неторопливо. Атнер не стал смотреть, что будет дальше, и Салих тоже не стал. Когда они посмотрели опять, верёвка шла.

Считать, сколько на ней людей, Атнер больше не пробовал.

* * *

Ложный лагерь ставили к вечеру, на той стороне ям.

Повозку без колеса завалили набок, будто её бросили второпях. Вторую оставили на ходу, но распрягли и оглобли опустили в траву. Котлы повесили над старым кострищем, которое нашли тут же — кто-то жёг здесь огонь и до них, может, год назад, может, десять. Курак велел положить у котлов рогожу и пару мешков, набитых сеном, и сам уложил их так, как лежат мешки, которые не успели закинуть на воз: один боком, у другого завязка распущена.

— Сено торчит, — сказал Салих.

— Сверху не видно.

— С коня видно.

Курак засунул сено поглубже и завязал мешок. Потом подумал и развязал опять.

— Кто тут будет сидеть? — спросил Хурçă. — Днём, у огня.

— Я, — сказал Атнер. — И трое из всадников.

— Всадники на купцов не похожи. — Хурçă оглядел себя: рваные сапоги, пояс из лыка, белая рубаха, уже серая на локтях. — Я похож. Мы все похожи. Посади меня, командир. Я умею пугаться. Я всю жизнь пугаюсь.

Обозные засмеялись, и Уйăп громче всех, хотя ему было совсем не смешно, это было видно.

— Нет, — сказал Атнер.

— Почему?

— Потому что потом надо бежать. А ты не бегаешь.

— Я бегаю, — обиделся Хурçă. — Я от жены бегаю двадцать пять лет.

— И она тебя догоняет, — сказал Курак.

Хурçă открыл рот и закрыл. Больше он про лагерь не спрашивал.

* * *

Вторую ночь сидели без огня.

Ели сухое: лепёшки, сыр, вяленую рыбу, которую Салих выменял у кого-то на Волге ещё на прошлой неделе. Рыба была солёная, и после неё все по очереди ходили к ручью. Обозные ходили в сапогах.

К полуночи потянуло холодом от воды. Всадники легли у коновязи на потники, завернулись и, кажется, заснули. Обозные сидели под повозкой кружком, в белом, и в темноте было видно только это белое. Атнер сидел один и смотрел в сторону брода, хотя смотреть было не на что.

Молодой кыпчак проснулся, решил, что коням надо дать воды, взял ведро и пошёл к коновязи. Подошёл к Кăваку слева.

Звука почти не было. Короткий, как хлопнули мокрой рукавицей, — и следом сдавленное «а-а», которое кыпчак проглотил сам. Кто-то из обозных под повозкой засмеялся в рукав. Салих приподнял голову с потника.

— Он слева не любит, — сказал Салих в темноту. — Тебе ведь говорили.

— Не говорили, — сказал кыпчак, держась за плечо.

— Я говорил, — сказал из-под повозки Курак.

Никто не помнил, чтобы Курак это говорил. Спорить никто не стал.

Атнер встал, взял у кыпчака ведро и напоил Кăвака сам, подойдя справа. Конь пил долго, отдувался в ведро. Атнер положил ему руку на шею. Шея была тёплая, и под ладонью ходила жила.

Он вернулся к повозке и сел. Спать не хотелось. Он надвинул личину обратно на лоб, чтобы не мешала, и стал считать, беззвучно, одними губами. Девять ям. Сорок кольев. Четырнадцать всадников. Пятеро обозных. Девять верховых у них. Двое при пеших. Одна тропа.

На девятом круге подошёл Курак и сел рядом, не спросив. Долго сидели молча. Потом Курак сказал:

— Мать твоя весной здоровая была. Ткёт.

— Знаю.

— Ну вот. — Курак помолчал. — Это я так.

Атнер ждал, что Курак скажет про Ятмана, про столб, про то, как копали осенью. Курак не сказал. Он поправил рубаху на коленях, белым краем, чтобы не касалась земли, и пошёл обратно под повозку.

* * *

Ему снилось, что он жнёт, а колос пустой: сожмёт горсть — в руке ость и пыль, и так до края поля. Он пошёл к реке промыть руки, а река сухая, одни камни, и рыба лежит ртом кверху и ещё дышит. За спиной, далеко, гудело, будто шёл очень большой обоз, сто телег, и все в одну сторону. Он обернулся — дороги нет, только след от колёс, и след идёт не к ним, а от них. Проснулся он оттого, что кто-то в лагере точил серп.

Серпов в обозе не было: июнь.

Точил Салих. Он сидел на корточках у коновязи, спиной к ветру, и правил саблю на бруске, длинно, медленно, и брусок пел в темноте.

— Рано, — сказал Атнер.

— Не спится. — Салих попробовал лезвие ногтем. — Ты во сне говорил.

— Что говорил?

— Не разобрал. По-вашему.

Небо над бродом серело. От ручья поднимался туман и ложился на траву, на ту траву, под которой были ямы, и ровнял её ещё лучше, чем Уйăп пальцами. Где-то в тумане, за рекой, крикнула птица и замолчала.

Атнер встал, сдвинул личину на лоб и пошёл по склону к дороге — посчитать ямы ещё раз, пока светает.

Глава 2. Камень и хмель



засада на конвой

Атнер. Степь южнее Луки, у брода, 14 июня 1223 года

Огонь в ложном лагере развели, когда пыль над бродом стала жёлтой от солнца.

Дрова были сырые, нарочно сырые, и дым пошёл густо, белым столбом, и лёг над балкой. Атнер сидел у котла на мешке с сеном и помешивал воду, в которой ничего не варилось. Напротив сидели двое булгар из всадников, Ильдар и Мансур, и сувар из-под Сувара, которого все звали просто Сувар, потому что его настоящее имя никто не мог выговорить с первого раза. Все четверо без броней, в рубахах. Брони лежали в повозке под рогожей, шлемы — там же. Кони стояли за перевёрнутой повозкой, осёдланные, с отпущенными подпругами.

Личина была на Атнере. Её он снимать не стал: её должны были увидеть.

— Жарко, — сказал Мансур.

— Жарко, — согласился Атнер.

Больше разговаривать было не о чем. Мансур разломил лепёшку и не стал есть, положил половину на колено.

Конвой вышел к броду. Сначала показались двое передних верховых, потом повозки, одна за другой, с высокими колёсами, и пешие. Отсюда, снизу, их было видно лучше, чем с гребня. Пешие шли, опустив головы, и у каждого на шее была петля, и от петли к петле шла верёвка. На многих были остатки кольчужных рубах, без рукавов, изодранные. На одном — красный кафтан, выгоревший на плечах до рыжего. Рубахи у всех русские, с косым воротом.

Атнер смотрел на них сквозь дым и думал, что три года назад такие же рубахи стояли под Ошелем, и тогда он был на другом берегу.

Два года назад он стоял в карауле у шатра, где на Городце мирились с русскими. Послы читали старые грамоты, долго, нудно, и один русский боярин, старый, с больными ногами, прочёл вслух какие-то слова, и в шатре засмеялись. Потом толмач пересказал за дверью: это про то, как их князь Владимир мирился с булгарами, давно, при прадедах, и клялись тогда, что мира не будет, только когда камень поплывёт, а хмель утонет. Атнер тогда подумал, что

это хорошая клятва, потому что камень не плавает. Потом подумал, что за три года до того русские сожгли Ошель, клятва не помешала, и перестал думать.

Верховой, тот самый, отделился от конвоя и поднялся на курган.

— Этот, — сказал Атнер.

Трое у костра не повернули голов.

— Я их потащу, — сказал Атнер и опустил личину на лицо.

Звук сразу сел. Треск дров, голос реки, дыхание Мансура рядом — всё отодвинулось, стало глуше, будто между ним и миром положили войлок. Осталось собственное дыхание, громкое, железное, и узкий кусок степи в прорезях. Прорези были пробиты под чужие глаза, чуть шире его собственных, и левым краем Атнер видел ободок железа, а правым — дым.

— Кто выйдет за мной раньше времени, — сказал он из-под железа, — потащит сам. И один.

— Слышали, — сказал Сувар.

* * *

Их увидели не сразу. Сначала один передний верховой остановил коня и привстал в стременах. Потом второй. Потом оба повернули в балку, шагом, осторожно, держа луки поперёк седла.

Атнер встал, посмотрел на них, будто только что заметил, и уронил черпак. Ильдар вскочил и побежал к коням, неловко, спотыкаясь, оглядываясь. Мансур схватил мешок и бросил его. Сувар остался сидеть, глядя на верховых с раскрытым ртом, и сидел так долго, что Атнер подумал: не притворяется. Потом Сувар вскочил и побежал тоже.

Двое верховых перешли на рысь. За ними от конвоя отделились ещё пятеро.

Кăвак стоял за повозкой и, когда Атнер вскочил в седло, не дожидаясь подпруги, сразу пошёл. Подпругу Атнер затягивал на ходу, одной рукой, наклонившись, и ремень резал пальцы. Они выехали из-за повозки вчетвером и пустились вверх по балке, прямо на дорогу, где лежали ямы, и Атнер держался позади всех, чтобы его было видно. Он оглянулся, повернув всю голову, потому что в личине вбок не видно.

Семеро шли за ними, развернувшись полукругом. Кто-то из них закричал — высоко, коротко, как кричат на скот. Другой ответил.

Первая стрела прошла мимо, он её не видел, только услышал, как она прошуршала над ухом. Вторая ударила во что-то сзади, глухо. Кăвак дёрнулся и не сбился.

Ильдар, Мансур и Сувар ушли в проход первыми, один за другим, как учили, гуськом, и Атнер, пропустив их, вошёл последним. Земля под копытами была та же самая, трава та же самая, только теперь по бокам в двух шагах лежали ямы, и Атнер не смотрел на них, он смотрел Кăваку между ушей. Первая яма. Вторая — и Кăвак сам принял влево, так же, как принимал позавчера, десятый раз. Третья.

Сзади треснуло.

Это был не громкий звук. Громкий был потом — конь закричал, как кричат кони, — а сначала был треск ивовой плетёнки, сухой, короткий. Потом ещё один. Потом человек крикнул одно слово, и это слово оборвалось.

Атнер проскочил последнюю яму, натянул повод и развернул Кăвака на месте, на пятке, так резко, что конь присел на задние ноги.

В прорезях было видно немного. Было видно дорогу, над дорогой пыль, а в пыли — пустое место там, где только что скакали. Двое верховых шли в обход ям, по краю, у самого склона, и одного из них Атнер потерял из виду сразу, потому что с засеки ударили лучники Салиха и склон закрыло пылью. Второй вылетел на дорогу за ямами, прямо на Атнера, и был

так близко, что Атнер увидел его лицо: немолодое, скуластое, с мокрой от пота бородкой, и рот открыт.

Кăвак пошёл ему навстречу сам.

Удар Атнер почувствовал в плече и в локте — чекан встретил что-то твёрдое, рука отдала до зубов. Чужой конь пронёсся мимо, задев Кăвака боком, и Кăвак устоял. Атнер развернулся ещё раз. Чужой конь бежал по дороге дальше, к броду, с пустым седлом, и стремя било его по боку.

Потом стало тихо. Не совсем — где-то кричал конь в яме, долго, и кто-то из всадников Салиха спустился со склона и пошёл туда, и конь перестал кричать. Потом стало совсем тихо.

Атнер сидел в седле и дышал. Под ним дышал Кăвак, всем телом, и бока ходили так, что Атнера качало. Ремень подпруги, который он затягивал на ходу, перекосился и натёр ему левую ногу через штанину. Он посмотрел вниз. Из передней луки седла, в ладони от его колена, торчала стрела с серым оперением. Вошла глубоко, в дерево, и не дрожала.

Он попробовал вытащить её и не смог. Отломил древко и бросил в траву.

* * *

Когда он поднял личину на лоб, звук вернулся сразу весь: мухи, река, голоса.

Он слез с коня, и ноги не удержали. Не подогнулись, а просто стали чужими, как бывает, когда долго сидишь на корточках. Атнер взялся за стремя и постоял, держась. Кăвак повернул голову и посмотрел на него, и Атнер сказал ему: «Стой», хотя конь и так стоял. Потом он отпустил стремя и увидел, что пальцы у правой руки не разгибаются до конца, скрючены, как держали чекан. Он разогнул их левой рукой по одному.

Салих спускался с засеки, ведя коня в поводу, и считал на ходу, тыкая пальцем.

— Все, — сказал Салих, подойдя. — Четырнадцать. У Халима рука, стрелой. Кость цела.

— Они?

— Семь здесь. Восьмой у пленных был, пошёл на засеку, там и остался. — Салих помолчал. — Девятый на кургане.

Атнер посмотрел на курган.

Верховой стоял там же, где стоял, когда всё начиналось. Конь под ним переступал. Человек смотрел вниз, в балку, на ямы, на пустых коней, на засеку, и Атнеру показалось, что смотрит он прямо на него — на золото. Может, так и было. Золото отсюда было видно лучше всего.

Потом человек повернул коня и пошёл вниз с кургана, на ту сторону, неторопливой рысью, не оглядываясь.

— Догоним, — сказал Салих. — Мой свежий.

— Не догонишь.

— Один на один.

— Он уже не один. Он уже там, куда едет. — Атнер тронул Кăвака за шею. Шея была мокрая, и под рукой её дёргало. — Пусть едет. Всё равно уйдёт.

Салих смотрел на курган ещё долго, после того как на нём никого не осталось. Потом сплюнул и пошёл к ямам.

* * *

Пленные сидели на дороге у брода рядами, как их остановили, и никуда не бежали. Бежать было нельзя: верёвка. Когда Курак с ножом пошёл вдоль ряда, первый, к кому он подошёл, втянул голову в плечи и закрыл глаза.

Петли были из сыромятного ремня. Курак резал их у шеи, осторожно, подсунув под ремень два пальца, и отходил к следующему, а человек, у которого ремень был разрезан, так и сидел, держась рукой за шею, и не вставал.

— Встань, — сказал ему Курак по-суварски. Человек не понял. Курак показал рукой: вверх. Человек посмотрел на его руку и не встал.

Атнер сошёл с коня и пошёл вдоль ряда с другой стороны.

По-русски он говорил медленно и плохо, как говорят на торгу: знал, как сказать «сколько», «хлеб», «брод» и «стой», а «мы вас освободили» не знал, как сказать. Он остановился у первого, кто смотрел на него, а не в землю, и сказал:

— Вставай. Всё. Идём.

Смотрел на него мужик лет сорока, с левой кистью, сросшейся криво, будто её когда-то переломили и не вправили. Он посмотрел на личину на лбу у Атнера, потом ему в лицо, потом на ямы.

— Ты чей?

— Болгарские мы.

Мужик кивнул и остался сидеть. Потом сказал, ни к кому, в дорогу:

— Две недели гнали.

Их было тридцать один. Атнер сосчитал, когда они наконец встали, и пересчитал ещё раз. Были женщины, четыре. Одна, немолодая, в чужой свитке, держала в руке отрезанный конец верёвки и не выпускала, и Курак не стал у неё отбирать. Был мальчишка лет четырнадцати, тощий, с ободранными коленями, который, едва с него срезали петлю, подошёл к Салиху и спросил, нельзя ли ему взять лук вон того, в яме. Салих его понял без языка и отвёл за плечо в сторону, к повозкам. Мальчишка пошёл, но оглядывался.

Был один, который не встал совсем: сидел, вытянув ногу, и нога была замотана выше колена серой тряпкой, чёрной в середине. Двое других подняли его под мышки и держали, пока Курак подгонял повозку.

И был один, который встал первым из всех, сам, раньше, чем ему разрезали петлю, и стоял, пока Курак не дошёл до него. Высокий, широкий в кости, с тёмной бородой, в которой было много седого. На шее у него под петлёй кожа была стёрта до мяса. Когда Курак разрезал ремень, он снял его сам, посмотрел на него и бросил, как бросают дохлую змею.

Потом он повернулся и пошёл к ямам — смотреть. Постоял у края, заглянул вниз. Вернулся.

— Это вы копали, — сказал он Атнеру. Не спросил.

— Мы.

— Хорошо копали.

* * *

Кормить их Курак начал раньше, чем Атнер велел.

Он развязал мешок с просом из чужой повозки, понюхал, взял щепоть на зуб и сказал, что просо как просо, только пыльное. Повесил на треногу чужой медный котёл, самый большой, и развёл огонь — уже не сырой, а сухой, чтобы без дыма. Обозные носили воду. Уйăп, не спрашивая никого, вытряс в котёл мешочек соли из собственной котомки, весь, и потом стоял над котлом с таким лицом, будто его обокрали.

Освобождённые сидели в тени и смотрели на котёл. Никто не подходил. Когда каша сварилась и Курак ударил черпаком о край, они встали все разом и пошли, и Курак выставил перед собой черпак, как выставляют руку перед конём.

— Не так скоро, — сказал он по-суварски. — По одному.

Его не поняли, но встали по одному.

Первым был мальчишка с ободранными коленями. Курак налил ему в чужую чашку половину, не больше, и, когда мальчишка протянул чашку ещё, покачал головой и показал: потом. Мальчишка ел стоя, обжигаясь, и смотрел на котёл поверх чашки.

— Мало даёшь, — сказал Салих, подойдя.

— Они две недели не ели, — сказал Курак. — Дам много — к ночи половину хоронить. У нас так в голодный год было. Дали мужикам хлеба досыта, и трое к утру легли.

Салих подумал и отошёл.

Атнер взял чашку из рук Хурçă и понёс её тому, с перевязанной ногой, который лежал в повозке. Руки у Атнера ещё тряслись, и каша плескала через край, и он пошёл медленнее, глядя на кашу, а не под ноги. Раненый взял чашку двумя руками. У него было молодое лицо и седые виски.

— Как звать? — спросил Атнер.

— Сновид.

— Нога?

Сновид посмотрел на свою ногу так, будто нога была не его, а соседа.

— С Калки ещё, — сказал он. — Везли. На телеге везли. Они раненых сперва везли, думали, продадут.

Он стал есть. Атнер постоял и пошёл обратно к котлу. Немолодая женщина с концом верёвки в руке стояла в очереди последней и, когда Курак налил ей, взяла чашку одной рукой, а верёвку так и не выпустила.

* * *

Про Калку Атнер узнал от него же, от высокого, когда уже перевели пленных через брод и поставили на той стороне, в тени, под ветлами.

Рассказывал высокий коротко. По-русски, медленно, чтобы Атнер понимал, и иногда повторял одно слово два раза, если видел, что Атнер не понял. Сперва Атнер думал, что это он так из уважения. Потом понял: это он так, чтобы не говорить лишнего.

На Калке-реке. В последний день травня. Все князья, какие были на юге, и половцы с ними. Половцы побежали первые и побежали на своих. Потом все побежали. Киевский князь стоял на горе за телегами три дня, а потом сдался на слово, и слово ему не сдержали. Остальные бежали к Днепру. Этих, кого вели, брали по дороге, кого где.

— Их много? — спросил Атнер.

Высокий подумал.

— Как травы.

— Трава не число.

— Не число, — согласился высокий. — А ты пойди посчитай.

Атнер считал про себя. Последний день травня — это конец мая. Сегодня четырнадцатое июня. Две недели. Их гнали две недели на восток, а у тех, кто гнал, было девять верховых и шесть повозок, значит, это был не полк, а обоз, и шёл он туда, куда ушли остальные. Остальные ушли за Волгу или за Дон, или уже стояли где-то между. Где-то вон там, куда поехал верховой с кургана.

В Болгаре этого не знал никто. В Болгаре знали, что купцы из Хорезма злые, а половецкие кожевники приезжают быстро и уезжают быстро. В Болгаре в это самое время, может быть, спорили на базаре о цене на воск.

Весть теперь была у него. Он её вёз.

Салих сидел рядом на корточках и слушал, не понимая половины слов, но поняв главное. Когда Гордята отошёл, Салих долго молчал, крутил в пальцах травинку.

— Всех князей? — спросил он.

— Всех, какие были.

— И половцев.

— И половцев.

Салих сломал травинку пополам.

— У меня брат в Биляре женат на половчанке. — Он сказал это так, будто сообщал, где у брата стоит амбар. — Её родня весной кочевала у Дона.

Атнер ничего не ответил. Сказать тут было нечего, и Салих, кажется, ничего и не ждал.

— В Болгаре не знают, — сказал Салих.

— Нет.

— Узнают от тебя.

— От меня.

— Выходит, тебе и отвечать, если не поверят. — Салих встал и отряхнул колени. — Ты им числа скажи. Числам у нас верят. Скажешь «как травы» — выгонят.

— Я не знаю чисел.

— Придумай, — сказал Салих и сразу поморщился, будто сказал глупость. — Нет. Не придумывай. Скажи, сколько было на верёвке. Это ты знаешь.

Атнер тоже встал, пошёл к повозкам и велел Кураку пересчитать всё, что было в шести чужих телегах, и записать зарубками.

Курак пересчитал. Войлок, скатками. Три котла, медные, чужой работы. Мешки с просом. Мешок сушёного мяса, твёрдого, как дерево. Кожаные вёдра. Седло, богатое, с серебряной оковкой — явно не отсюда. Два сундука с русским добром: чаши, пояса с бляхами, крест серебряный на цепочке, свёрнутые ткани, одна красная. И клей в горшке, вонючий, для луков.

— Крест куда? — спросил Курак.

— К остальному.

— Вон тот, высокий, смотрел.

— Пусть смотрит. Всё к остальному. В Болгаре скажут, чьё.

Курак сложил крест обратно, завернул в тряпку.

— Мёртвых их куда?

Атнер подумал. Он не знал, как этих хоронят. Никто в отряде не знал.

— В овраг, за брод. Землёй закрыть.

— А головой как?

— Туда. — Атнер показал на восток, где был курган. — Они туда шли.

Курак посмотрел на восток, кивнул и пошёл звать обозных. Обозные были в белом. Атнер видел, как Уйäп остановился у края первой ямы, снял шапку, постоял и полез вниз.

* * *

К вечеру Кäвак остыл и стал пить.

Атнер отвёл его к реке ниже брода, где вода шла тише, и конь пил долго, отдуваясь, поднимал голову, смотрел на тот берег и опять опускал. Ноги у него ещё подрагивали, передние. Атнер провёл ладонью по груди, по бабкам — горячих мест не было. Он ослабил подпругу и оставил коня стоять в воде по колено.

Потом снял личину совсем. Положил её на камень у воды, лицом вверх, и золотое лицо уставилось в небо чужими усами.

Он встал на колени, зачерпнул воду обеими ладонями и пил, как пьёт конь, долго, пока не заломило зубы. Потом умылся. Вода стекала с подбородка за ворот, холодная, и на рубахе под ней расходилось тёмное.

Когда вода у берега успокоилась, в ней было лицо. Узкое, загорелое по краю, где кончается личина, а выше, на лбу и вокруг глаз, светлее. Старый шрам через бровь, белый. Под гла-

зами синё. Лицо было ровное. Ни испуга, ни радости. Такое лицо бывает у человека, который сделал то, что велели, и сделал хорошо.

Рядом кто-то встал на колени и тоже зачерпнул воды. Атнер не обернулся. По рукам он узнал высокого: на запястьях ссадины от ремня, пальцы длинные, чёрные от грязи.

Высокий пил и смотрел на Атнера. Атнер это чувствовал щекой. Потом высокий перевёл взгляд на личину на камне, долго на неё смотрел и опять на Атнера.

— Ты у них старший? — спросил он.

— Я.

— Булгарин?

— Сувар. Служу в Болгаре.

Высокий помолчал. Зачерпнул ещё, плеснул себе на шею, на стёртое место, и зашипел сквозь зубы.

— Я городецкий, — сказал он. — Гордята. У Святослава в дружине ходил. Три года назад.

Три года назад Святослав ходил на Ошель. Об этом знал каждый в Болгаре, и каждый в Городце. Атнер смотрел на воду.

— Знаю, куда вы ходили, — сказал он.

Больше они про это не говорили. Кăвак стоял в воде, фыркал на свою тень. На том берегу обозные несли мешок к оврагу, вдвоём, и третий шёл за ними с лопатой.

Атнер сам не знал, зачем сказал это. Слова пришли сами, и он сказал их по-русски, как сумел:

— Когда камень поплывёт, а хмель утонет.

Гордята медленно повернул к нему голову. Смотрел долго, и в бороде у него что-то дрогнуло — не улыбка, а то, что бывает перед ней, когда человек давно не улыбался и забыл как.

— «Тогда не будет меж нами мира», — сказал Гордята. — «Когда камень начнёт плавать, а хмель тонуть». Так у нас записано. Мне поп читал, в Городце. Я мальчишкой был, думал — про камень это смешно.

— Мне на Городце читали, — сказал Атнер. — Когда мирились. Я у шатра стоял.

— В карауле?

— В карауле.

— Ну вот. — Гордята стряхнул воду с пальцев. — Значит, по той клятве ты меня сегодня из петли вынул. Как положено.

— Выходит.

— Тогда и за мной. — Гордята упёрся рукой в колено и встал, тяжело, по-стариковски, хотя стариком не был. Постоял, глядя на тот берег, где копали. — Долг встречный.

Он пошёл вверх по берегу, к ветлам, к своим. Шёл медленно и не оглядывался, и ворот рубахи у него на шее был чёрный.

Атнер посидел ещё, пока вода опять не успокоилась. Потом взял с камня личину, стряхнул с неё песок и надел на лоб.

Глава 3. Восемь раз шёл



Гордята

Гордята. Степь, переход к Волге, 15–20 июня 1223 года

Шея заживала плохо. За ночь ссадина подсыхала коркой, а утром, стоило повернуть голову, корка лопалась, и ворот прилипал к мясу. Гордята держал голову прямо, как держат, когда несут на ней корзину, и шёл за второй повозкой, потому что во второй повозке лежал Сновид.

Шли на север. Булгарин с золотым железом на лбу сказал вчера, куда: к Волге, а там к ихнему городу. Гордята слышал это слово — Болгар — всю жизнь. В Городце так называли всё, что дальше Суры: мёд булгарский, соль булгарская, серебро, воск, купцы в высоких шапках, которые считали быстрее, чем говорили. А три года назад так называли город, который горел.

Идти без верёвки было странно. Руки всё время искали, за что держаться. Гордята заметил, что идёт, чуть наклонив голову влево, как шёл две недели — к тому, кто впереди на ремне, — и выпрямился. Через сотню шагов опять наклонился.

Впереди, у первой повозки, шли деды в белом. Пятеро. Про них Гордята ещё вчера понял, что они не воины, а возчики, и что у них какой-то праздник или пост: все пятеро в белых рубахах, чистых, будто в церковь, а сапоги у всех рваные. Ели они с остальными, работали с остальными, только на голую землю не садились. Подстилали что придётся — рогожу, шапку, собственную ладонь. И не разувались, хотя жара стояла такая, что Гордята, будь его воля, шёл бы босиком.

* * *

Разговаривать начали на второй день, когда отошли от брода и перестали оглядываться.

Сначала говорил Нежата, кузнец из-под Чернигова. Он шёл рядом с Гордятой и нёс свою левую руку правой, под локоть, как носят больную, хотя рука давно не болела, срослась ещё зимой, криво.

— Не в полон нас гнали, — сказал Нежата. — Ты заметил?

— Заметил.

— В полон гонят — берегут. Работника берегут. А эти не берегли. Эти гнали, как гонят на торг: сколько дойдёт. Кто сел — того дальше не гнали.

Гордята знал это и без Нежаты. Он сам видел, как на шестой день сел парень из киевских, молодой, у которого разбита была ступня. Сел и не встал. К нему подъехал один из этих, посмотрел сверху, как смотрят на хромую овцу, и махнул остальным: идите. Верёвку перерезали. Парень остался сидеть на дороге. Когда отошли на перестрел, Гордята оглянулся, и на дороге уже никого не было, только тот, верховой, догонял.

— Торг-то где? — спросил Гордята.

— Кто ж знает. На низу где-то. За морем.

— Там, говорят, теперь некому покупать.

— Тогда зачем гнали?

Гордята не ответил. Сзади шла Любава, вдова гончара из-под Путивля, и держала в руке обрезок ремня, который так и не выпустила с того дня у брода. Нежата оглянулся на неё и понизил голос:

— У неё сына на четвёртый день забрали. Отделили с другими. Десять лет мальцу. Туда погнали, на полдень.

— Знаю.

— Она всё ремень держит.

— Вижу.

Нежата помолчал.

— Может, найдётся, — сказал он.

— Может.

Вперёд, обгоняя повозку, пробежал Путята — тот, мальчишка четырнадцати лет, который у брода лез в яму за чужим луком. Лук ему так и не дали. Он с утра ходил за булгарином-десятником, седым, который служил у старшего, и просил хоть нож. Десятник его не понимал или делал вид, что не понимает, а когда мальчишка надоедал совсем, давал ему что-нибудь нести. Сейчас Путята нёс кожаное ведро с водой, расплёскивая, и был счастлив.

— Этого не удержишь, — сказал Нежата.

— Этого не удержишь, — согласился Гордята.

* * *

Сновид лежал в повозке на чужом войлоке, на спине, и смотрел в небо. Ногу ему перевязали заново — один из дедов в белом, самый старый, с высоким голосом, которого звали Уйăп. Перевязывал он медленно, отвернувшись и морщась, и что-то бормотал над тряпкой, и тряпку потом, старую, не выбросил, а отнёс за версту от дороги и там закопал. Гордята видел это и не спрашивал зачем.

К полудню у Сновида начался жар.

Гордята шёл рядом с колесом и смотрел, как у Сновида на висках, седых, выступает пот и катится в уши. Сновиду было двадцать три года. Он сам сказал, ещё на верёвке: двадцать три, а виски седые с Калки, за одну ночь. Он этим гордился, пока шли. Потом, когда ногу стало нельзя ставить и его бросили на телегу к раненым, перестал.

— Гордята, — сказал Сновид с повозки. — Долго ещё?

— До Волги.

— А потом?

— Потом до города.

— А потом?

— Потом домой.

Сновид подумал.

— Мне домой далеко.

— Всем далеко.

— Мне дальше.

Он закрыл глаза. Гордята шёл рядом и держался за край повозки — рука опять нашла, за что держаться.

* * *

От Калки они шли восемь дней.

Гордята шёл за такой же телегой, только телеги той уже не было, и лошади не было, а было поле, и степь, и солнце, и ночью звёзды, по которым он держал на полночь. Их вышло из Городца девятнадцать, считая его. После Ошеля князь Святослав дружину распустил по домам, а зимой пришли люди с низу, от черниговских, и звали за серебро. Пошли. Им сказали: половцам помочь, на пришлых, тех никто не знает, будет добыча. Добыча была.

На Калке он был жив утром, жив к полудню и жив вечером, и не мог потом вспомнить почему. Помнил, как побежали половцы — прямо на них, через их строй, и кони шли по людям. Помнил телеги на горе, где стоял киевский князь, — их было видно издалека, телеги кругом, как у купцов на ночлеге. Помнил, как бежал и как рядом бежали свои.

Их было девятнадцать, и к ночи их было девять.

Дальше шли пешком. Коней не было. Шли на полночь, к Днепру, по ночам, днём лежали в балках. В первый день сел Ратко, у которого было копьё в боку, и махнул рукой: идите. На

второй — двое. Сядет человек, посидит, поглядит, как остальные стоят и ждут, и махнёт рукой. Не зло махнёт, не прощаясь. Как машут на мух. Иди.

И Гордята шёл.

Он потом, на верёвке, считал это много раз, в уме, потому что больше делать на верёвке нечего. Восемь раз кто-то садился. Восемь раз махали. Восемь раз он шёл. Может, и не восемь, может, считал он двоих за одного, когда садились вместе, но выходило восемь, и он больше не пересчитывал.

На девятый день он был один. Уснул в овраге под кустом, а проснулся оттого, что над ним дышал конь.

Шесть дней потом гнали на ремне. Всего выходило две недели.

— Долго ещё? — спросил Сновид, не открывая глаз.

— До Волги, — сказал Гордята.

* * *

На третий день утром вторая повозка села в ручье.

Ручей был пустяковый, в два шага, но дно у него оказалось илистое, и заднее колесо ушло в ил по ступицу. Лошадь дёрнула, колесо не пошло. Сновид в повозке застонал, не открывая глаз.

Деды в белом обступили ручей с берега. Курак что-то сказал Уйăпу, Уйăп что-то ответил, и оба посмотрели на воду, потом на свои ноги в рваных сапогах. Хурçă сел на берег, подстелив шапку, и стал разуваться, медленно, и остановился, разув одну ногу, и посмотрел на Курака. Курак покачал головой. Хурçă стал обуваться обратно.

Гордята не понял, что у них тут за беда, и понимать не стал. Он скинул обмотки, закатал порты выше колен и полез в ручей.

Ил был тёплый сверху и холодный внизу, и ноги ушли в него по икры. Гордята нашёл ногами твёрдое, подсел под задок повозки, упёрся плечом и сказал лошади: «Ну». Лошадь его не поняла, но возчик понял и дёрнул. Шея на ссадине лопнула, Гордята почувствовал, как по ключице течёт тёплое, и не отпустил. Колесо чмокнуло и вышло.

Он выбрался на берег, сел и стал отирать ноги травой. Деды смотрели на него. Смотрели как-то не так — не как смотрят на человека, который вытащил телегу, а как смотрят на человека, который сделал что-то, чего делать не надо, но уже сделал, и теперь интересно, что будет.

Курак сказал что-то, и деды засмеялись. Уйăп — нет. Уйăп смотрел на Гордятины босые ноги и качал головой.

Атнер подъехал на своём гнедом.

— Что он говорит? — спросил Гордята.

— Говорит, — Атнер смотрел не на Гордяту, а на ручей, — сегодня последний день, когда землю не тревожат. Босиком нельзя. Ногой толкнёшь — земля обидится.

— Я не знал.

— Он знает, что ты не знал. — Атнер помолчал. — Говорит: тебе можно. Ты не наш. С тебя земля не спросит, она по-русски не понимает.

Деды опять засмеялись, и в этот раз засмеялся и Уйăп, коротко, против воли, и сразу сердито отвернулся.

Курак подошёл, наклонился и молча положил перед Гордятой его обмотки, которые Гордята бросил у воды. Потом постучал по борту вытащенной повозки кулаком, как стучат по бочке.

— Хорошая телега, — сказал он по-суварски, и Атнер перевёл, не дожидаясь вопроса: — Говорит: хорошая телега. До осени.

* * *

Старшего булгарина Гордята разглядывал третий день.

Звали его Атнер. Это имя Гордята услышал от дедов в белом, но они говорили его редко, а больше говорили какое-то своё слово, похожее на «батюшка». Всадники звали его по-своему, коротко. Сам себя он не называл никак.

Был он невысокий, сухой, лет тридцати с небольшим. На лбу носил железную личину, позолоченную, с усами, и Гордята сначала думал, что он в ней и спит, потому что снимал он её, кажется, только чтобы пить. Лицо у личины было чужое — широкое, скуластое, с толстыми усами. Лицо под ней было узкое и совсем другое, и от этого, когда он её сдвигал, казалось, что под одним человеком сидел второй.

Ехал он на гнедом коньке, коротконогом и некрасивом, который на рыси тряс его, как мешок, а он сидел, будто так и надо. Он всё время что-то считал. Проедет вдоль обоза — губы шевелятся. Остановится у повозки — смотрит на колёса, считает спицы, что ли. С десятником говорил по-булгарски, коротко, почти одними числами, а с дедами в белом — по-другому, дольше, мягче, и один раз Гордята видел, как самый старый дед что-то ему сказал и он ответил, и оба чуть не засмеялись.

На третий день, в полдень, у ручья, Атнер слез с коня, поднял личину и стал пить, и Гордята опять увидел его лицо — близко, в пяти шагах, при ярком свете. Ровное. Спокойное. Чуть уставшее под глазами. На лбу белая полоса от железа.

Гордята знал это лицо. Он его каждый день видел в воде, когда умывался, двенадцать лет подряд, пока ходил в дружине. Лицо человека, который сделал, что велели, и сделал хорошо, и не спрашивает, кому это было надо. Утром он смотрит так на реку, в которой будет переправа, вечером — на город, который будет гореть. Тем же лицом.

«Знаю, куда вы ходили», — сказал ему этот булгарин у брода.

Гордята зачерпнул воды, выпил и подумал: а сам-то ты где был, когда мы ходили? Лет тебе сколько? Тридцать три, может. Значит, тогда было тридцать. Значит, был где-то. Служилый в тридцать лет дома не сидит.

Спрашивать он не стал.

Атнер опустил личину на лоб, сел в седло и поехал вдоль обоза, и губы у него опять шевелились.

* * *

К вечеру четвёртого дня жар у Сновида стал такой, что от повозки пахло.

Остановились рано, в низине у маленькой речки, где росли кусты. Булгарин велел не разводить большого огня. Развели малый. Уйăп сварил отвар из какой-то травы, нарванной по пути, дал Сновиду пить, и Сновид выпил половину, а остальное вылилось на войлок.

Ночью Гордята не спал. Лежал у колеса и слушал, как Сновид дышит в повозке — часто, мелко, и между вдохами иногда что-то говорит, не по-русски и не по-людски, а так, словами из сна.

Потом дыхание стало реже.

Гордята приподнялся. У повозки, на борту, сидел Уйăп, старый дед, в своей белой рубахе, серой в темноте. Сидел и держал Сновида за руку, обернув свою ладонь краем рубахи — не голой рукой держал, а через ткань. Гордята не знал, давно ли он так сидит.

Уйăп наклонился к Сновиду и сказал ему негромко, как говорят на ухо ребёнку:

— *Ятне асăнатпăр*«Имя назовём».

Слов Гордята не понял. Понял, что это не молитва: так не молятся. Так обещают. Он лёг обратно и слушал, как старик повторил это ещё раз, тише, и потом ничего не говорил, а только сидел.

Звук слов Гордята запомнил. Сам не знал зачем. Лежал и повторял их про себя, пока не заснул.

* * *

Утром Сновид не встал.

Уйăп сидел на том же месте, на борту повозки, и когда Гордята подошёл, старик посмотрел на него и медленно покачал головой. Руку Сновида он уже отпустил и положил ему на грудь.

Гордята постоял. Потом обошёл повозку, откинул рогожу на передке, где лежал инструмент, и взял лопату.

Хурçă, другой дед, помоложе, протянул руку тоже — к лопате. Гордята не отдал. Взял крепче и посмотрел на Хурçă, и тот убрал руку и отступил.

— Мой, — сказал Гордята по-русски. — Наш.

Хурçă, может, и не понял слов, но понял. Он кивнул и пошёл за второй лопатой.

Место Гордята выбрал на бугре над речкой, сухое, чтобы вода не стояла. Воткнул лопату и нажал ногой, и земля пошла легко, жирная, чёрная, с корнями. Сзади подошёл Курак — старший у дедов, с выгоревшими бровями, который всё время ворчал. Постоял, посмотрел, как Гордята копает. Потом сказал что-то по-своему и засмеялся одним носом.

— Он говорит, — сказал Атнер. Гордята не слышал, как тот подошёл. — *Çинçе*«неделя, когда землю не тревожат» позавчера кончилась. Говорит: повезло твоему. Позавчера бы — землю просить пришлось.

— У вас землю просят?

— Просят.

Гордята подумал.

— У нас не просят, — сказал он. — У нас так берут.

— Он знает, — сказал Атнер. — Он поэтому и говорит — повезло.

Курак взял у Хурçă вторую лопату и стал копать с другого конца. Копал он как человек, который копал это всю жизнь: ровно, неглубоко, не тратя ни одного лишнего движения. Потом выпрямился и показал Гордяте рукой — сперва на закат, потом на восход. Потом положил ладонь себе на затылок и показал на закат. Потом лицом — на восход.

— Головой на закат, — сказал Атнер. — Лицом к солнцу. Он спрашивает, у вас как.

— У нас так же.

Курак выслушал, кивнул, будто и не сомневался, и сказал что-то ещё, короткое.

— Говорит: чтоб солнце в глаза шло. Мы, говорит, спиной к солнцу не ложимся. И вы, говорит, выходит, тоже.

— Выходит.

— Чей он? — спросил Атнер. — Курак спрашивает. Как отца звать, какой род.

Гордята опёрся на лопату.

— Сновид, — сказал он. — С Калки. Двадцать три года.

— А отца?

Гордята открыл рот и закрыл. Две недели на одной верёвке. Сновид рассказывал про виски, про то, что у него есть сестра и что он умеет плести корзины. Про отца он не рассказывал. Или рассказывал, а Гордята не слушал.

— Не знаю, — сказал он. — Из-под Переяславля. Не знаю.

Атнер перевёл Кураку. Курак ничего не сказал. Только повторил, с трудом, ломая звуки:

— Сно-вид.

И ещё раз, про себя, шевеля губами, будто клал слово на полку.

* * *

Сновида завернули в войлок, на котором он лежал. Гордята хотел в рогожу, чтобы войлок оставить живым, но Уйăп покачал головой, и Гордята не стал спорить.

Прежде чем опускать, Курак достал из-за пазухи хлеб, отломил и бросил на дно. Гордята смотрел. Дома так не делали. Но и мешать было незачем. Хлеб так хлеб. Ему в дорогу. Дорога дальняя, за четыреста вёрст.

Освобождённые стояли вокруг ямы, все тридцать. Любава с ремнём в руке. Нежата, держащий свою кисть. Путята без шапки, потому что шапки у него не было. Всадники стояли поодаль, у коней, и деды в белом стояли поодаль, у повозок, и никто не подходил ближе, чем надо.

Гордята стал читать, что помнил.

Помнил он немного. Помнил «Господи, помилуй», и сказал его трижды. Помнил «Со святыми упокой», потому что мать пела это над отцом, и спел, хрипло, с середины, потому что начало забыл. Дальше не помнил ничего. Он стоял и ждал, что вспомнится. Не вспомнилось. Было утро, была речка, пахло полынью. Он стоял и молчал, и все стояли и молчали, и никто его не торопил, даже булгарин.

Потом Гордята наклонился, взял горсть земли и бросил на войлок.

Крест связал Путята — из двух прутьев ивы, лыком, криво. Гордята не стал перевязывать. Воткнул в изголовье как есть.

Когда закопали, Любава вдруг села прямо на землю у холмика и закрыла лицо руками. Не голосила. Просто села. Гордята видел, как деды в белом переглянулись: села на голую землю.

Атнер подъехал к яме на коне. Посмотрел на крест, на Любаву. Сказал что-то по-своему, негромко, дедам:

— *Ун шăпи пĕтнĕ*«Его доля кончилась».

Деды кивнули. Уйăп снял шапку и надел.

Потом Атнер повернулся к освобождённым и сказал по-русски, медленно, подбирая слова, как подбирают камни на броде:

— Доля нарезана. У него — кончилась. У вас — нарезана дальше. Через полчаса идём.

И поехал к голове обоза.

Нежата сплюнул себе под ноги. Кто-то из баб сказал: «Нехристь». Гордята ничего не сказал. Он смотрел, как Атнер доехал до первой повозки, слез с коня и встал к нему вплотную, лицом к шее, и положил руку коню на шею, и стоял так. Недолго. Столько, сколько нужно, чтобы досчитать до тридцати. Потом сел в седло.

Через полчаса пошли.

* * *

— Что он сказал ночью? — спросил Гордята у Курака, когда шли. — Старый. Сновиду.

Курак не понял. Гордята повторил звук, как запомнил:

— *Ятне… асăн…*«Имя… назо…»

Курак посмотрел на него внимательно, долго, из-под выгоревших бровей. Потом постучал себя пальцем по груди, по тому месту, где у Гордяты висел бы крест, если б его не сорвали на Калке. Потом показал на рот.

— Имя, — сказал Курак по-русски, выговаривая, как выговаривают на торгу. — Звать. — Он подумал, подбирая. — Назовём.

— Кто назовёт?

Курак пожал плечами и показал на себя, на Уйӑпа, на обоз, на небо, на Гордяту.

— Кто помнит, — сказал он по-суварски и сразу, заметив, что Гордята не понял, махнул рукой.

Гордята шёл дальше и думал, что Сновида теперь помнит Курак, который выговаривает его имя по слогам, и Уйӑп, который держал его за руку через рубаху. А он, Гордята, помнит виски и корзины. А отца — нет.

* * *

На пятую ночь, в последнюю перед Волгой, Гордята опять не спал.

Огня не было совсем. Была луна,половинная, и от неё всё было серое: повозки, кони, спящие люди на земле. Деды спали под повозкой, подстелив рогожу. Всадники — у коней. Освобождённые — кучей, как спали две недели, прижавшись, потому что так теплее и потому что так привыкли.

Атнер встал со своего места у первой повозки и пошёл. Гордята подумал сначала, что по нужде. Но Атнер отошёл от лагеря шагов на сорок, на пригорок, и встал там, лицом к лагерю, спиной к степи. Стоял и смотрел вниз.

Потом Гордята услышал, что он говорит.

Негромко. Слов не разобрать, да и не по-русски. Но Гордята слышал, как ложатся эти слова — ровно, одно за другим, с одинаковым промежутком, и как Атнер при каждом чуть поворачивает голову. От коней — к повозкам. От повозок — к спящим.

Он считал.

Так у них в дружине считал старший, Твердята, после каждого дела: отойдёт, встанет повыше и считает, губами, и никто к нему в это время не подходит. Гордята думал раньше, что старший считает, сколько осталось. Потом понял, что нет. Сколько осталось, Твердята видел и так, глазами. Считал он, чтобы кого-нибудь не забыть. На Калке Твердята не считал. Он лёг в первый же час, у телег.

Гордята лёг на спину и тоже стал считать, про себя, по-русски. Всадники — четырнадцать, с ним самим. Деды — пять. Свои — тридцать. Было тридцать один.

Сорок девять.

Там, на пригорке, голос дошёл до конца и замолчал. Атнер постоял, глядя вниз, на серое. Потом повернул голову к коням и начал сначала.

Глава 4. Ровное место



«Ровное место»

Атнер. Великий Болгар, 21 июня 1223 года

Траву на кладбище косили рано, пока роса, и коса шла по ней с мокрым звуком, будто кто-то раз за разом втягивал воздух сквозь зубы.

Кладбище лежало за городской стеной, на пологом склоне к озеру, и было ровное, как поле после покоса. Холмики, где они ещё оставались, сравнялись с землёй. Ни столбов, ни камней, ни знаков. Только трава, скошенная рядами, и между рядами тропинки, протоптанные неизвестно кем и неизвестно куда: здесь никто не ходил к кому-то, здесь просто ходили.

Атнер остановился у края и стал искать глазами. Искать было нечего.

— Здесь где-то, — сказал он.

Косарь не поднял глаз от работы. Был он старый, в белой чалме, намотанной как попало, и в подоткнутом халате, и косил так, как косят городские — не от плеча, а от рук, коротко.

— Четвёртый ряд от тропы, — сказал косарь. — Девятый от края. Мардан ибн Абдулла, сотник. Зима двадцать первого.

Атнер посмотрел на него.

— Ты помнишь?

— Я не помню. Я записываю.

Атнер пошёл по тропе. Считал шаги — вслух, негромко, по привычке, которая сама ходила у него во рту, как ходит язык. Ряд. Второй. Третий. Четыре. Он свернул. Один от края. Два. Трава под сапогами пружинила, и мокрые стебли липли к голенищам. Семь. Восемь. Девять.

Он остановился. Место было ровное и ничем не отличалось от места слева и от места справа.

— Тут, — сказал он.

— Тут, — согласился косарь издали. — Хочешь — постой. Только не клади ничего. Унесу.

— Я и не несу.

Он стоял. Не садился и не опускался на колено. Руки у него висели вдоль тела, и правая, сама, без спроса, чуть согнулась в пальцах, как сгибается, когда в ней ложка. Первую ложку каши — на землю, отцам. Первый ковш — туда же. Так делала мать в Хурăнвар, так делал Ятман, так делал он сам, пока ему не исполнилось двенадцать и отец не забрал его в город. Здесь так было нельзя. Здесь лежали головой к *кыбле*«стороне Мекки», без гроба, в белом без швов, и первую ложку сюда не клали. Здесь читали. Отец знал, что читают. Атнер когда-то тоже знал — два года при мечетской школе, — но то, что учил, он учил глазами, медленно, шевеля губами, и оно не осталось в памяти, а осталось на тех листах.

Отец умер не в бою. Отца подняли на берегу под Ошелем с рубленым бедром, довезли до дома, и он прожил семь недель. Умер в постели, зимой, ночью, на седьмой неделе. Атнер говорил это всякий раз, когда спрашивали, одними и теми же словами, и сам не знал, зачем ему так важно, что не в бою, а дома.

Трава была тёплая сверху от солнца. Над озером кричали чайки.

— Я не знаю, что тут делают, — сказал Атнер.

Косарь выпрямился, упёр косовище в землю и отёр лоб рукавом.

— Молятся или молчат, — сказал он. — Ты которое умеешь?

— Второе.

— Второе тоже считается. — Косарь опять нагнулся и взялся за косу. — Только не подолгу. Земля тут сухая, стоять неинтересно.

Атнер постоял ещё. Потом полез в кошель, нащупал там отцовскую печатку — медную, стёртую, с именем, вырезанным наоборот, — подержал её в кулаке и положил обратно. Кулак разжимать не хотелось.

Уходя, он оглянулся с тропы, чтобы запомнить место. Место было как все.

* * *

У восточных ворот, как и пять лет назад, и десять, сидел Мумик.

Сидел он на камне у самой створки, без шапки, босой, в рубахе, которая когда-то была зелёной, и стража его не гнала, потому что гнать его было всё равно что гнать ворота. Людям он имён не давал. Людей он не замечал вовсе, смотрел сквозь, как сквозь дым. Зато коней знал всех, какие проходили, и здоровался с каждым.

Атнер вёл Кăвака в поводу. Мумик поднял голову.

— Здравствуй, Кăвак, — сказал он коню. — Похудел. Далеко ходил.

Кăвак повёл ухом. Атнер остановился: он не был в городе с осени, а этого коня Мумик видел до того, может быть, два раза.

— Откуда ты его знаешь? — спросил Атнер.

Мумик на него не посмотрел. Он смотрел на Кăвака, и глаза у него были светлые, мутные и весёлые.

— Купите у меня зиму! — закричал он вдруг на всю улицу, так, что водонос у колодца облился. — Купите зиму, я её не доношу! Дёшево отдам! Ношеная!

Стражник у ворот засмеялся и махнул рукой: иди, мол, командир, это он всегда. Атнер пошёл. Шагов через двадцать оглянулся. Мумик сидел на камне и что-то тихо говорил вслед Кăваку, а не ему.

* * *

В палату наместника он вошёл в личине.

Опустил её на лицо ещё во дворе, у коновязи, прежде чем подняться по ступеням, и мир сразу сел — голоса стражи, ржание, скрип ворот стали глухие, будто за стеной. Осталось собственное дыхание и узкий кусок света в прорезях. Так было правильно. В палату наместника эмира ездил не Атнер, сын суварки из-за третьей улицы, а командир авангарда, и лицо у командира было казённое. Его для того и золотили.

Внутри было полутемно и пахло чернильными орешками. Окна маленькие, под потолком, а свет из них падал вниз столбами, и в столбах стояла пыль. Наместник сидел в глубине на возвышении, на подушках, немолодой, грузный, в тёмном, и перебирал чётки. Справа от него, пониже, за низким столиком, сидел писец Ильяс ибн Юсуф — худой, с узкими плечами, — и чинил калам маленьким ножиком. Слева стоял человек, которого Атнер не знал: лет сорока пяти, невысокий, в чистом синем кафтане, с короткой бородой, наполовину седой, и с толстой книгой под мышкой, заложенной в нескольких местах полосками кожи.

Атнер поклонился и сказал, что положено. Столичная речь у него была выучена давно и лежала во рту, как чужая, но правильная вещь: каждое слово на своём месте, частиц нет, всё короче, чем хочется.

— Докладывай, — сказал наместник, не поднимая глаз от чёток.

— Разъезд прошёл по правому берегу вниз до Луки и дальше на два дня. Четырнадцатого числа у брода встретил конвой. Девять верховых, шесть повозок, пленные. Конвой взят. Своих потерь нет. Один ранен. Один из конвоя ушёл.

— Пленные чьи?

— Русские. Тридцать один человек. Взяты на Калке-реке, в последний день прошлого месяца. Один умер в пути, девятнадцатого числа, от старой раны. Тридцать при отряде.

Ильяс перестал чинить калам.

— На Калке, — повторил наместник.

— Пленные говорят: на Калке были все южные князья и половцы. Разбиты все. Киевский князь сдался на слово. Остальные бежали к Днепру. Тех, кого догнали, гнали на восток. Две недели.

Наместник перестал перебирать чётки. В палате стало так тихо, что Атнер услышал, как у Ильяса скрипнул ножик о край столика — Ильяс его положил.

— Сколько их? — спросил человек в синем кафтане. Голос у него был ровный и сухой, и он задал вопрос так, как задают его сборщику: сколько привёз.

— Не знаю.

— Пленные что говорят?

— Говорят — как травы.

— Трава не число.

— Не число, — сказал Атнер. — Число у меня одно. Тридцать один человек на одной верёвке. Девять верховых на тридцать одного. Сколько таких верёвок — не знаю.

Человек в синем кивнул, открыл свою книгу на одной из закладок и что-то в ней отметил. Без калама — ногтем.

Наместник долго молчал. Потом спросил, не глядя на Атнера, а куда-то в столб света:

— За Луку тебя кто посылал?

— Письменного приказа не было.

— Значит, ты за Луку не ходил. — Наместник опять взялся за чётки. — Ильяс. Напиши: разъезд авангарда у Луки встретил конвой, идущий на север, и взял его.

— Конвой шёл на восток, — сказал Атнер.

— Напиши: на север, — сказал наместник.

Ильяс написал.

* * *

Дальше говорил человек в синем. Наместник назвал его Хасан-беком, и Атнер вспомнил это имя: в казённой палате при пристани, двенадцать лет на десятине, человек, у которого не пропадало ни одной меры. Про него говорили, что он считает даже во сне и что жена его жалуется на это соседкам.

Хасан-бек читал поручение с листа, но Атнер видел, что он его не читает, а знает. Читал он не громко и не тихо, ровно, выделяя числа — так, что числа ложились в воздух, как камни в стену.

Отряду переправиться на правый берег. Пройти по сёлам правобережья. Собрать людей, сколько дадут сёла и роды, лесных соседей, кого удастся, — на оборону бродов и дорог, чтобы пришлые, если пойдут на Болгар, шли не прямо, а долго. Искать, где пройдут. Доносить. Казна — пятьсот серебром. С казённого склада — сорок восемь мер зерна, двенадцать тюков холста, соли на сорок дней, стрел — восемь сотен, наконечников отдельно — две сотни. Сорок кольчуг.

— Кольчуг не беру, — сказал Атнер.

Хасан-бек поднял глаза от листа.

— Сорок кольчуг выписаны.

— Кольчуга — сто двадцать дней кузнечной работы. У меня сорок дней пути. Порвутся — чинить некому. Бросить — жалко казны. Возить — лошадей нет. — Атнер помолчал и добавил: — Впиши, что не взял. Чтобы потом не спросили.

Хасан-бек посмотрел на него внимательно, долго, как смотрят на мешок, в котором не то зерно, что в описи. Потом кивнул Ильясу. Ильяс записал.

— Срок возврата обоза? — спросил Ильяс. Голос у него был тихий и вежливый, и спрашивал он так, будто извинялся.

— Не назову, — сказал Атнер. — Обоз вернётся, когда отпустят броды.

— Это не срок.

— Это причина. Срок поставишь сам. Я подпишу.

Ильяс подумал, обмакнул калам и поставил срок. Какой — Атнер не видел.

— Сколько при тебе людей? — спросил Ильяс.

— Четырнадцать всадников. Пять обозных.

Ильяс записал. Потом поднял голову.

— Сколько людей писать на кормление?

— Четырнадцать и пять, — сказал Атнер. — Я сказал.

— Я слышал, — сказал Ильяс. — Я спросил другое. Кормить сколько?

Атнер помолчал.

— И тридцать, — сказал он.

— Освобождённые из вражеского полона, — сказал Хасан-бек, не отрываясь от своей книги, — числятся за казной до выкупа родными или до решения. Их пишут отдельно. Как добро.

Ильяс кивнул и склонился над листом. Писал он медленно, красиво, и в конце строки остановился, подумал и дописал ещё что-то, короткое. Потом поднёс калам ко рту и подул на кончик, хотя чернила на нём давно высохли.

Атнер стоял близко. Читать вверх ногами он умел хуже, чем прямо, а прямо — медленно, по слогам, и губы у него при этом шевелились, и он знал, что это видно, и под личиной это было не видно. Он прочёл строку. Там стояло: «При отряде, на кормлении, обозными, тридцать душ». Слова «добро» там не было.

Ильяс поднял на него глаза, спокойные, усталые, с красными веками, и сразу опустил.

— Добро из конвоя, — сказал Хасан-бек, — описано?

— Описано. Зарубками.

— Зарубками. — Хасан-бек произнёс это слово так, будто взял его двумя пальцами. — Хорошо. Перепишу сам. Там что?

— Войлок, котлы, просо, мясо. Седло с серебром. Два сундука русского добра. Чаши, пояса, крест серебряный.

— Крест, — сказал наместник со своего места. Это было первое слово за долгое время.

— Крест, — сказал Атнер.

Наместник пожевал губами и больше ничего не сказал. Хасан-бек отметил в книге ногтем.

* * *

Когда всё было прочитано и подписано, наместник сказал:

— Хасан-бек поедет с тобой. Казна будет при нём. Отчёт — при нём. Он будет писать мне сам, раз в десять дней.

Хасан-бек поклонился наместнику и потом, чуть меньше, Атнеру. Атнер поклонился ему так же. Больше говорить было нечего.

Он вышел из палаты в тёмный переход, и там снял личину, и мир сразу вернулся — звонкий, с чужими шагами за углом, с голубями на карнизе. Лицо под железом было мокрое. Он провёл по нему рукавом.

Хасан-бек вышел следом и встал рядом, у окна, в столбе света, и раскрыл свою книгу. Страницы были исписаны мелко, столбцами: числа, числа, между ними редкие слова.

— Не обижайся заранее, командир, — сказал Хасан-бек, не поднимая глаз. — Я считаю всё. Зерно, серебро, подковы, дни. Людей. Меня к тебе не за то посылают, что я тебе не верю. Меня посылают, потому что я считаю.

— Я не обижаюсь.

— Обидишься. Все обижаются. Недели через две. — Хасан-бек перевернул страницу. — Ты сказал в палате «тридцать один на одной верёвке». Хорошо сказал. Наместнику это легче, чем «как травы». Кто тебя научил?

— Десятник.

— Умный десятник. Как звать?

— Салих.

Хасан-бек записал ногтем.

— Триста лет назад, — сказал он, — эмир Алмуш принял закон. Не веру только — закон, счёт, письмо. С того дня эта страна знает, сколько у неё есть: сколько дворов, сколько душ, сколько мер. Ты понимаешь, что это значит?

Атнер молчал.

— Это значит: кто знает, сколько у него есть, тот знает, что он может потерять и чего не может. И потому стоит. Те, с Калки, князья — они не знали, сколько у них есть. Они знали, сколько у них храбрости. — Хасан-бек закрыл книгу. — Столица знает счёт, командир. Потому устоит.

— Пиши, — сказал Атнер.

Хасан-бек посмотрел на него, на личину у него в руке, на серое пятно на золотой переносице, и, кажется, хотел что-то спросить. Не спросил.

— Завтра на рассвете, — сказал он. — Ага-Базар. Там склад и там переправа. Твоих русских я пересчитаю сам.

Из палаты вышел Ильяс, с доской для письма под мышкой, с каламом за ухом. Прошёл мимо них по переходу, потом вернулся на два шага.

— Командир, — сказал Ильяс тихо. — Я не умею воевать. Я умею, чтобы у воюющих всё было. Это тоже участие.

Он сказал это так, будто продолжал какой-то разговор, начатый давно, и ушёл, не дождавшись ответа.

Хасан-бек проводил его глазами.

— Он хороший писец, — сказал Хасан-бек. — Только добрый. Это пройдёт.

* * *

Обоз стоял за стеной, у пристани, на выгоне, где всегда ставили казённые телеги. Когда Атнер пришёл туда после полудня, Курак спал под повозкой, накрыв лицо шапкой, освобождённые сидели в тени у складской стены, а Салих торговался с водоносом за два ведра и проигрывал.

Гордята поднялся навстречу.

— Ну? — спросил он.

Атнер подумал, как сказать это по-русски.

— Завтра — Ага-Базар. Потом на тот берег. Отряд. Вы — с отрядом.

— Как с отрядом? Мы кто?

— Записаны. При отряде. На кормлении. Обозные.

Гордята долго смотрел на него, повторяя про себя слова, как Курак повторял имя Сновида.

— А могли записать как?

Атнер помолчал.

— Как добро, — сказал он. — Из полона.

Гордята перевёл взгляд на складскую стену, у которой сидели его тридцать, на Любаву с ремнём, на Нежату. Потом опять на Атнера.

— Кто записал?

— Писец. Не я.

— Скажи писцу спасибо.

— Он не возьмёт, — сказал Атнер. — Он сделал вид, что так и было.

Гордята кивнул, будто это было понятно, и сел обратно в тень. Потом спросил снизу, не поднимая головы:

— А на том берегу что?

— Сёла. Лес.

— Эти туда придут?

— Не знаю.

— Придут, — сказал Гордята. — Они везде приходят.

Салих вернулся с двумя вёдрами и сказал, что водонос вор и что вода в Болгаре дороже, чем пиво в Биляре. Никто ему не возразил.

* * *

Отцовский дом стоял за третьей улицей от восточных ворот, в посаде, и Атнер нашёл бы его с закрытыми глазами: по запаху кожевенной мастерской через два двора, по вязу у ворот, по скрипу калитки, которая скрипела так уже тридцать лет, потому что отец так и не собрался её смазать, а после отца никто не собрался.

Собака во дворе была новая. Атнер остановился у калитки и ждал, глядя на собаку, пока из дома не вышел мальчишка и не оттащил её за ошейник. Шрам на левом запястье у Атнера зачесался, как чешется всякий раз, и он потёр его о штанину, не заметив.

— Брат пришёл, — сказал мальчишка в дом, не громко и не радостно, а так, как говорят «дождь пошёл».

Вдова отца вышла на порог, вытирая руки. Была она булгарка, городская, моложе матери лет на десять, полная, с усталым красивым лицом, и называла Атнера так, как положено по закону, — старшим сыном своего мужа. По жизни они друг другу не приходились никем, и оба это знали и оба это вежливо обходили.

— Ты ел? — спросила она.

— Не ел.

— Заходи. Руки мой.

Его посадили в передней комнате, на почётное место, где сидел отец. Младший, Идрис, лет девяти, сел на пол у стены и смотрел на личину, которую Атнер положил рядом с собой на лавку. Смотрел не отрываясь. Старший, Бурхан, лет тринадцати, тот, что оттаскивал собаку, сел за стол, ел и не смотрел ни на кого.

Вдова поставила миску с кашей, на каше — масло, лепёшки, кислое молоко. Атнер взял ложку, зачерпнул первую, и рука сама, как на кладбище, пошла в сторону — к краю стола, к полу, — отложить. Туда, где в Хурăнвар у стола стояла старая глиняная плошка для отцов.

Здесь плошки не было.

Рука остановилась на полпути. Атнер посмотрел на ложку, как смотрят на чужую вещь, которую взял по ошибке, и съел кашу сам. Каша была горячая, и он обжёгся.

Вдова видела. Он понял это по тому, как она сразу отвернулась к печи и стала там что-то переставлять.

Говорили о службе. Вдова спросила, как его мать.

— Не знаю, — сказал Атнер. — С весны не видел.

— Весной была здорова?

— Весной была. Обозный сказал, он из её деревни.

Вдова кивнула. Они с матерью прожили под одной крышей двенадцать лет, две жены одного мужа, одна городская, другая из-за Волги, и за двенадцать лет ни разу не поссорились вслух, потому что ни разу ни о чём важном не заговорили. После сороковин по отцу мать собрала один узел и уехала к себе в Хурăнвар на попутной телеге. Вдова тогда вышла проводить до ворот.

— Скажи ей, — сказала вдова, — вяз у ворот я не срубила. Она просила.

— Скажу.

Больше вдова про мать не спрашивала.

Потом спросила, надолго ли он в городе. Он сказал: до утра. Она спросила, куда. Он сказал: на правый берег. Она сказала: там, говорят, опасно. Он сказал: везде говорят. Старший, Бурхан, спросил, правда ли, что русских побили. Атнер сказал: правда. Старший сказал: хорошо, пусть знают. Вдова сказала: Бурхан. Старший замолчал и доел.

Младший всё смотрел на личину.

— Можно потрогать? — спросил он наконец.

Атнер подумал.

— Можно.

Мальчишка подошёл, протянул руку и не потрогал. Держал руку над золотым лбом, в двух пальцах, и не опускал. Потом убрал руку за спину и вернулся к стене.

— Холодная? — спросил Атнер.

— Не знаю, — сказал мальчишка. — Не потрогал.

* * *

Когда мальчишек уложили, вдова вышла с ним в сени и показала на потолок. Над сенями, в углу, доски потемнели пятном в две ладони, и на полу под пятном стоял горшок.

— Течёт, — сказала она. — С весны. Я звала мастера, мастер сказал: надо перекрывать весь угол, а не латать. Назвал цену.

— Сколько?

Она назвала. Атнер полез в кошель, отсчитал, прибавил ещё немного и протянул ей. Серебро было его, не казённое. Своё он носил отдельно, в другом кармане кошеля, рядом с отцовской печаткой.

Вдова взяла и поблагодарила — правильными словами, как благодарят в хорошем доме: призвала благословение на его руки и на его дорогу, на его отца и на отца его отца. Сказала всё до конца, ничего не пропустив, и только потом опустила серебро в карман передника.

Постояли.

— Ты у нас как посланник, — сказала вдова. — Приедешь, поешь, дашь денег и уйдёшь.

— Я и есть посланник.

— Я знаю. — Она посмотрела на тёмное пятно на потолке, а не на него. — Я просто хотела, чтоб ты это сам сказал.

Она ушла в дом. Атнер остался в сенях. В горшке под пятном было сухо: дождя не было с неделю.

Он вернулся в переднюю комнату, где ему постелили на лавке, лёг, не раздеваясь, и положил личину под голову, как кладут седло. На полке над дверью стояла отцовская чернильница, пустая, с засохшей коркой на дне. Отец писал плохо, хуже сына, и всё равно держал чернильницу на виду, как держат дорогую вещь.

Атнер лежал и смотрел на неё, пока не стемнело совсем. Потом, в темноте, сосчитал вслух, негромко: отряд, обоз, тридцать при отряде, завтра Ага-Базар. Сорок восемь мер. Пятьсот серебром. Сорок кольчуг — не взял.

За стеной заворочался и сел в постели младший.

— Ты кому это? — спросил он через стену шёпотом.

— Никому, — сказал Атнер. — Спи.

Глава 5. Десятина головами



Хасан-бек



Ахтупай мучи



Ага-Базар

Хасан-бек. Ага-Базар, 22–23 июня 1223 года

Жена дала ему в дорогу урюка в чистой тряпице и сказала: сорок штук, на сорок дней, по одной после заката, не больше. Хасан-бек пересчитал на первом привале, за городскими огородами, пока обоз поил лошадей. Вышла сорок одна.

Он пересчитал ещё раз. Сорок одна. Значит, считала она сама, а не служанка, и считала второпях, у порога, пока он садился в седло. Он завязал тряпицу, положил в суму, на дно, и решил, что лишняя — на обратную дорогу.

Потом раскрыл *дафтар*«книгу учёта» на закладке и пошёл считать русских.

Они сидели у дороги, в тени кустов, кучей, как сидят люди, которые долго ходили на одной верёвке. Хасан-бек обошёл их по кругу, отмечая каждого ногтем по краю листа. Двадцать шесть мужчин, из них один мальчишка лет четырнадцати, который тут же встал и спросил, что он пишет. Четыре женщины. Тридцать. Сходилось с тем, что сказал командир в палате, сходилось с росписью писца, сходилось с числом мисок, которые вчера выписали по росписи.

Мальчишку он отправил к Салиху. Мальчишка пошёл, оглядываясь.

Роспись Ильяса он перечитал здесь же, стоя, ещё раз, потому что вчера, в палате, её читали вслух, а на слух Хасан-бек не верил ничему, даже себе. Строка про русских была на месте. «При отряде, на кормлении, обозными, тридцать душ».

Он прочёл её дважды. Он так не диктовал. Он сказал в палате: освобождённых из полона пишут отдельно, как добро, до выкупа родными или до решения. Так было в законе и так делалось двенадцать лет. Ильяс написал «обозными».

Разница была в деньгах. Обозных казна кормит до возвращения обоза. Добро казна может продать, если кормить станет накладно, и вписать выручку в приход. Хасан-бек подержал палец на строке. Под строкой стояла печать наместника, а под печатью — кривая, разборчивая, некрасивая подпись командира. Подписанное правят только в палате, при свидетелях, а палата осталась за стеной, и назад никто не поехал бы.

Он закрыл дафтар. Отметил про себя: спросить Ильяса по возвращении, как у него это вышло. Потом отметил: не спрашивать.

* * *

Ага-Базар было слышно раньше, чем видно. Сначала гул, ровный, как от воды на перекате, потом из гула стали вылезать отдельные голоса, потом запахи: сырые кожи, дёготь, угольный дым от кузнечного ряда, рыба. Потом дорога поднялась на увал, и внизу открылась пристань — навесы, навесы, навесы до самой воды, и лодки у берега, и у лодок люди с мешками на спинах, цепочкой.

Двенадцать лет Хасан-бек въезжал сюда этой дорогой, почти каждый день, кроме пятниц и зимы. Он знал, что с увала до ворот таможенного двора — девятьсот сорок шагов, если идти пешком и не останавливаться у хлебного ряда Асии. У хлебного ряда Асии не останавливаться было нельзя. Он проверял.

— Ылтӑн Пит! — закричал кто-то над самым ухом, и Хасан-бекова кобыла шарахнулась.

Кричал Шӑнкӑрч. Он сорвался откуда-то из-под медового навеса, подбежал к голове обоза и шёл теперь рядом с конём командира, задрав голову к личине, и кричал так, что оборачивались лодочники у воды:

— *Ылтӑн Пит*«Золотое лицо»! Золотое лицо у нас ходит, люди! Смотрите, пока даром! Завтра за погляд брать будут!

Командир ехал и не поворачивал головы. Личина у него была опущена: он опустил её у первых навесов, и Хасан-бек заметил это и записал бы, если бы было куда.

— Ему медяк, — сказал Хасан-бек Юсуфу. — Иначе до воды не отстанет.

Юсуф ибн Ахмад, девятнадцати лет, всадник при казне, взятый из столичной сотни за то, что умел читать, полез в кошель. Шӑнкӑрч поймал медяк не глядя, как ловят муху, сказал «Мёд у Акмана! Мёд у Акмана, лучше не бывает!» — уже совсем другим голосом, и пропал под навесом.

— Он и про мёд так же кричит, — сказал Юсуф.

— Он про всё кричит одинаково. За это ему и платят. — Хасан-бек поморщился. — Золотое лицо — казённая вещь. Кричать про неё на торгу за медяк — всё равно что кричать про печать наместника.

Юсуф подумал.

— Про печать не кричат.

— Потому что за печать медяк не дают.

За их спинами, в хвосте обоза, ребятишки бежали за конём командира и пели что-то про городского, у которого нет лаптей. Хасан-бек не стал оборачиваться.

* * *

Таможенный двор стоял там же. Навес над столом был новый, а стол старый, и на углу стола было выжжено пятно в форме подковы: это Хасан-бек на третий год поставил туда горячий светильник. Теперь за столом сидел Юнус, которого он когда-то учил писать цифры так, чтобы семёрку нельзя было переделать в девятку.

Юнус встал.

— Бек.

— Сиди. Я не по твоему делу.

— Все говорят, вы теперь при войске.

— При казне. — Хасан-бек посмотрел на стол, на весы, на бирки, нанизанные на шнурок. — Бирки опять на одном шнурке держишь.

— На одном, бек.

— Спутаются.

— Не спутались ещё.

— Значит, спутаются завтра, — сказал Хасан-бек и почувствовал, как ему стало легче, будто он поставил на место чужую ложку.

Склад выдавал зерно по росписи, и выдавал медленно, как всегда, и Хасан-бек стоял при выдаче и считал меры вслух вместе с кладовщиком, а кладовщик сбивался, потому что не привык, чтобы вслух считал кто-то ещё. Сорок восемь мер. Двенадцать тюков холста. Соль. Стрелы пучками по сорок, двадцать пучков. Наконечники в двух мешках, по сотне, мешки опечатаны; Хасан-бек проверил печати и не стал вскрывать, потому что печать ставил он сам в прошлом году. Кольчуг не выдавали. Кладовщик спросил про кольчуги. Хасан-бек сказал: не взял. Кладовщик спросил: кто не взял. Хасан-бек сказал: записано.

К полудню телеги стояли гружёные. Командир всё это время ходил по пристани с Салихом и считал что-то своё: сколько лодок, сколько весел, сколько с каждого места видно воды. Личину он так и не поднял.

* * *

Невольничий ряд стоял между меховым и канатным.

С дороги его нельзя было отличить. Те же навесы, та же тень, те же весы у столба, и под весами такой же писец с бирками на шнурке. Слева висели связки беличьих шкурок, справа лежали бухты пенькового каната, свёрнутые кольцами, и от каната пахло смолой.

Хасан-бек знал этот ряд двенадцать лет. Он знал его так, как знают строку в книге, которую переписывают каждый месяц: торг пристани, людской, десятая сверху. Он ни разу не заходил под этот навес. Для этого там стоял человек эмира.

Человек эмира стоял и сейчас. Молодой, в хорошем кафтане, с палочкой угля в пальцах.

Их было девять. Сидели на кошме, у ног узелки. Никто не был связан. Купец, немолодой, с крашеной бородой, никого не зазывал и никого не показывал рукой: он говорил с покупателем через плечо, негромко, и называл ремесло и цену.

— Пряха, — говорил купец. — Гончар, с левой рукой плохо. Двое с поля.

Покупатель, сидевший на корточках, кивал и ничего не говорил.

Человек эмира смотрел на девятерых и держал уголь над биркой. Хасан-бек знал, что он делает: он решал, какая голова будет десятой. Десятины с торга людьми брались головами, как с меха брались шкурками. Если в партии девять, десятой головы нет, и тогда берут серебром. Если десять — одну голову эмиру, и молодой человек в хорошем кафтане сейчас прикидывал, кого из девяти запишут десятым, когда купец приведёт ещё одного. Уголь был ещё чистый.

Командир остановился.

Он остановился посреди прохода, и за ним встал Кăвак, и за Кăваком встали люди, и проход закрылся. Хасан-бек тоже остановился.

С краю кошмы сидела женщина в сером *сурпане*«женском головном покрывале». Лет тридцати, может, больше. Руки у неё лежали на коленях ладонями вверх, пальцы в мелких шрамах и в мозолях от нитки, такие Хасан-бек видел у ткачих в казённой мастерской. Она не смотрела на покупателей. Она смотрела мимо канатного навеса, на реку, туда, где шла лодка с мешками.

— Эта, — сказал командир. По-булгарски, из-под железа, так, что купец не сразу понял, откуда голос.

— Ткачиха, — сказал купец, обернувшись. — С-под Сувара. За долг двора взята. Здоровая. Семьдесят.

Командир повернул личину к Хасан-беку.

— Плати.

Хасан-бек открыл рот. Потом закрыл, потому что открыл его сказать «по какой статье», а это надо было говорить не при купце.

— Отойдём, командир.

— Плати, — сказал командир. — Семьдесят.

Хасан-бек подошёл к нему вплотную, так, чтобы говорить в прорезь.

— Казна выдана на оборону бродов и дорог. Люди на казну не покупаются. Статьи нет.

— Обозные, — сказал командир. — На кормление.

Хасан-бек услышал эти слова и узнал их. Это была строка Ильяса. Он отступил на шаг.

— Ты это при мне сказал, — сказал он. — Я запишу, что при мне.

— Пиши.

Серебро считали на кошме у Джафар-аги, у менялы, потому что купец не взял бы ни одного обрезка, не взвесив. Джафар-ага клал серебро на весы дважды и второй раз говорил вес вслух, и Хасан-бек считал за ним, и они не разошлись ни разу, и Джафар-ага сказал: «С вами, бек, скучно». Семьдесят. Пятьсот стало четыреста тридцать.

Писец ряда достал бирку женщины со шнурка и стал писать купчую. Хасан-бек стоял рядом и считал десятину: со сделки в семьдесят — семь серебром в казну эмира. Он сказал писцу «семь» раньше, чем тот начал считать на пальцах. Писец сказал «семь» и записал.

— Имя, — сказал Хасан-бек.

— Зачем имя? — Купец удивился по-настоящему. — Ткачиха.

— Для записи.

Купец взял бирку у писца и прочёл по ней, как читают вес на мешке:

— Ильгам.

Женщина обернулась на своё имя. Посмотрела на купца, на писца, на Хасан-бека с книгой. На личину.

Хасан-бек открыл дафтар, чтобы вписать расход, и остановился.

В дафтаре было четыре столбца на всё, что тратит казна: зерно, железо, кони, жалованье. Людей в расходе не было. Люди были в приходе — десятая голова, строка торга пристани. Если писать ткачиху в покупку, выйдет, что казна купила ткачиху, и тогда ткачиха — казённая вещь, как стрелы, и её можно продать обратно, если кончатся деньги. Если писать в жалованье — ей положено жалованье. В корм — корм не стоит семьдесят серебром.

Он провёл ногтем по краю листа новую черту. Написал над ней: «Выкуп». Под чертой: «Ильгам, ткачиха, из-под Сувара. Семьдесят. Десятина со сделки уплачена». И подумал, что под этой чертой теперь всегда будет пусто, кроме одной строки, и что столбец придётся переносить на каждую новую страницу.

Ильгам встала, взяла узелок. Командиру она ничего не сказала. Спросила у Курака, который стоял ближе всех:

— Стан в обозе есть?

— Нет, — сказал Курак.

— Лён есть?

— Холст есть. Казённый. Двенадцать тюков.

— Холст — не лён, — сказала она и пошла к телегам.

Курак посмотрел ей вслед, потом на Хасан-бека.

— Двенадцать тюков, — сказал он. — Теперь одиннадцать будет. Попомните моё слово.

* * *

Русские стояли у телег и смотрели на невольничий ряд. Смотрели все, даже Путята, который весь день крутился возле Салиха. Хасан-бек не сразу понял, что смотрят они не на кошму и не на купца, а на весы.

К нему подошёл Гордята. Высокий, в чужой рубахе, ворот которой не сходился на стёртой шее.

— Бек, — сказал он по-русски. — Ты тут считал?

По-русски Хасан-бек говорил лучше командира, потому что двенадцать лет брал десятину с русских купцов с Верхней Волги, а купец торгуется на своём языке, если хочет выиграть. Он говорил по-русски ценами, мерами и числами. Для остального русского у него не было нужды.

— Считал, — сказал он. — Двенадцать лет. Вон мой стол был.

— А эти чьи?

Хасан-бек объяснил. Он объяснял это сотни раз, иногда по пять раз на дню, купцам, которые приходили первый раз и не знали порядка. Он объяснил коротко и ясно, как привык. Торг на пристани идёт под рукой эмира. Со всякого торга берётся десятина: с мехов шкурками, с мёда мерами, с людского торга — головами, одна голова из десяти. Если голов меньше десяти, берут серебром со сделки. Сделка идёт при свидетелях, пишется купчая, у купчей есть писец и печать. Если родня придёт выкупать, купчую можно поднять и знать, кому платить.

Он говорил и слышал, как ровно ложатся слова. Шкурками. Мерами. Головами. Он нарочно сказал ещё раз, медленнее, чтобы проверить: головами. Слово было то же. Оно всегда было то же, двенадцать лет.

Гордята слушал, наклонив голову влево, как слушают, когда шея не поворачивается.

— Нас тоже так вели, — сказал он. — Только без писца.

— Без писца — это разбой, — сказал Хасан-бек.

— А с писцом?

— С писцом — торговля, — сказал Хасан-бек, и это тоже было правдой, и это тоже он говорил сотни раз.

Гордята кивнул, как кивают, когда цена названа и торговаться дальше незачем.

— Нас вели продавать, — сказал он. — Туда, где уже некому купить. Нам на верёвке один говорил, из киевских, он у купцов служил: за морем торг закрыт, пришлые его взяли. — Он посмотрел на кошму. — Значит, довели бы не всех. Невыгодного кормить не станут.

Хасан-бек промолчал. Он знал, что Ургенч разорён, и знал, что Судак взят, и знал, почему цена на людей на пристани этой весной упала вдвое. Он сам записывал.

— Ты русских писал обозными, — сказал Гордята. — Мне командир говорил. Спасибо, бек.

— Это не я.

— Всё равно, — сказал Гордята. — Ты рядом стоял.

* * *

У больших весов, где вешали воск, стоял старик и спорил с весовщиком.

Старик был маленький, сухой, белый весь — рубаха, борода, брови, — и в белой войлочной шляпе, поля которой обвисли от старости. Рядом стояли два парня с кругами воска, и старик говорил весовщику, что гиря у него лёгкая, а весовщик говорил, что гиря казённая, а старик говорил, что казённое тоже худеет, если его долго носить.

Хасан-бек остановился послушать. Гиря действительно была лёгкая. На полторы доли. Он это знал давно и давно собирался написать.

Старик увидел командира и бросил весовщика.

Он подошёл, не торопясь, остановился против Кăвака — конь повёл ухом, но не укусил, потому что старик зашёл справа, — и долго смотрел снизу на золотое лицо.

— Ты тот, кого за Волгу посылают, — сказал он по-суварски. Хасан-бек понимал по-суварски, если говорили медленно; старик говорил медленно, нарочно.

— Я, — сказал командир.

— Мăн Юман знаешь?

— Знаю.

— Дубраву там знаешь?

— Знаю.

— У нас три года назад рощу мерили верёвкой. Столичные. Сколько брёвен выйдет. Потом она сгорела. — Старик сказал это так, как говорят о погоде в позапрошлом году. — Теперь, говорят, опять ходят с верёвкой. Ты за Волгу идёшь людей брать. Возьмёшь — а рощу кто стеречь будет?

Командир не ответил сразу. Хасан-бек отметил про себя, что мерили не при нём и что роспись лесов правобережья лежит в палате, в третьем сундуке.

— Зачем тебе лицо поверх лица? — спросил старик.

— Так виднее, — сказал командир.

— Кому виднее?

Командир промолчал. Старик кивнул, будто так и думал.

— Чей ты и откуда?

Командир поднял личину.

Хасан-бек видел его лицо вчера, в полутёмном переходе палаты. На солнце оно было другое: узкое, в полосе загара по краю железа, лоб светлее, под глазами синё. Он ждал, что командир скажет «авангард эмира», потому что так отвечают, и сам бы так ответил.

— Хурăнвар, — сказал командир. — Мать — Эрнепи, Ятманова сестра.

Старик долго смотрел. Потом засмеялся одним ртом, беззубо.

— А я всё гадал, чей ты, — сказал он. — Ятмана знал. Он у меня кобылу торговал, не купил. Жадный был. Хороший мужик. — Он повернулся к парням с воском. — Воск продадите сами. Гирю лёгкую не берите, берите у соседа. Я с ними пойду.

— *Мучи*«дед», — сказал командир. — Тебе дорога тяжёлая.

— *Ватă çын — тăватă çын*«Старик — что четверо», — сказал старик. — Я Ахтупай. Мне всё равно домой. С вами короче.

Он пошёл к телегам, и Хасан-бек посмотрел ему вслед и открыл дафтар. Старика надо было куда-то писать. Он подумал и вписал в корм, одной строкой, без столбца: «Ахтупай, старейшина Мăн Юман, до Мăн Юман». Потом перечитал «до Мăн Юман» и не поверил этому уже тогда.

* * *

Под навесом у русского конца стояла женщина с корзиной и останавливала каждого, кто шёл мимо в русской рубахе.

Хасан-бек видел её здесь и раньше, с весны: она торговала остатком какого-то товара, сукном и деревянными ложками, и торговала плохо, потому что не умела сбавлять. Сейчас корзина у неё была почти пустая. Когда мимо прошёл Гордята, она шагнула ему наперерез.

— Вы от Калки шли? — спросила она. Спросила ровно, заученно, как торговка называет цену. — Ждан, кузнецов сын. Широкий такой. Бровь рассечена, левая.

Гордята остановился.

— Не помню, — сказал он.

Хасан-бек ждал, что он пойдёт дальше. Русский не пошёл. Он постоял, глядя поверх её головы, на реку, и стал говорить медленно, по одному имени, как выкладывают товар:

— Со мной Нежата шёл, черниговский, кузнец. Кузнец кузнецова сына скорей вспомнит. Спроси его. Путята, малый, при черниговском обозе был, он всех по коням помнит, не по лицам — спроси, какой конь был у Ждана. Любава, путивльская. Она на верёвке всех спрашивала про своего, может, и про твоего кто говорил. — Он подумал. — Ещё на верёвке киевский был, у купцов служил. Он сел на шестой день. Его не спросишь.

Женщина слушала, не записывая, и Хасан-бек видел, что она запоминает, как запоминают долги.

— Тебя как звать? — спросил Гордята.

— Неждана.

— Обоз до утра тут, — сказал он. — У складской стены. Приходи.

Она кивнула и пошла дальше, к следующей русской рубахе, и спросила то же самое, теми же словами.

* * *

Гребни продавали в костяном ряду, рядом с ножами.

Хасан-бек не собирался. Он шёл мимо, к таможенному двору, проверить у Юнуса, как тот пишет месячную сводку, и увидел гребень на краю прилавка — роговой, светлый, с частыми зубьями, с резной спинкой, на которой была птица. У жены был гребень с отломанным зубом, третьим от края. Она расчёсывалась им двенадцать лет и говорила, что с дыркой удобнее.

— Сколько?

— Три, — сказал мастер.

— Полтора.

— Бек, это рог с Камы.

— Это рог с Камы, — согласился Хасан-бек. — Двенадцатый зуб тоньше одиннадцатого на волос. Через год сломается. Полтора.

Мастер взял гребень, поднёс к глазам, посмотрел на двенадцатый зуб. Долго смотрел.

— Два.

— Два, — сказал Хасан-бек и положил два обрезка своего, не казённого серебра, из другого кармана кошеля.

Он завернул гребень в платок и положил в суму, к урюку. Торг занял столько, сколько занимает одна молитва без суры. Юсуф, стоявший у коня, видел всё и ни о чём не спросил, и Хасан-бек отметил это в его пользу.

* * *

Ночевали за пристанью, на выгоне, у телег. Утром надо было выходить вниз по левому берегу, к казённой переправе: паромы Ага-Базара до конца торга брали только купеческий груз, а казённый паром стоял у Ултимера, в двух днях ниже. Командир решил это ещё днём, одним словом, и Хасан-бек записал два дня пути как два дня корма на пятьдесят три души. Утром, у городских огородов, было пятьдесят одна.

Он сидел у телеги со светильником и сводил день. Зерно, холст, соль, стрелы, наконечники. Серебро: пятьсот, минус семьдесят, минус медяк Шăнкăрчу, который он записал, потому что медяк был казённый. Строка «Выкуп». Строка старика.

Ахтупай подошёл, когда он дописывал корм, и сел напротив, на оглоблю, и ждал. Он ждал так, как ждут у колодца, пока тот, кто впереди, наберёт воду, — не торопя и не уходя. Хасан-бек дописал строку до конца и поднял глаза.

— Покажи, где у тебя торг пристани, — сказал старик. По-булгарски, по-базарному, с суварскими концами слов.

Хасан-бек перелистнул назад, к сводкам прошлого года, которые возил с собой, потому что возил их всегда. Повернул книгу к свету и показал пальцем: вот торг пристани, вот мех, вот воск, вот мёд, вот людской торг, вот доля эмира, вот месяц. Строка как строка. Десятая сверху.

— А те девять под навесом, — сказал старик. — Они в какой строке?

— В этой же. Десятина берётся со сделки.

— Головами берётся.

— Со сделки, — сказал Хасан-бек. — Иногда натурой. Так записано до меня, мучи. Я не выдумывал.

Ахтупай кивнул, как будто получил то, за чем пришёл, и не встал.

— Я не говорю, что ты их продал, — сказал он. — Я говорю: ты их считал. Двенадцать лет считал. Ты сегодня у кожевника три раза спросил, откуда кожа: не с дохлой ли скотины. Я слышал. Ты гирю лёгкую видел у весовщика, я по глазам видел, что видел. — Он помолчал. — А про людей ты ни разу не спросил, откуда.

Хасан-бек посмотрел на строку под своим пальцем.

Он мог сказать, что это не его ведомство. Что за людской торг отвечает человек эмира с углём. Что его дело было сложить, а не спрашивать, и что сложено было верно, до доли, двенадцать лет, и ни одна мера не пропала. Всё это было правдой, и всё это он знал по порядку, как знают молитву.

Он закрыл дафтар. Не резко, а аккуратно, двумя руками, как закрывают чужую книгу.

— Не спрашивал, — сказал он.

— Вот и всё, что я хотел, — сказал Ахтупай.

Он встал, кряхтя, опёрся на колесо, взял свою миску с оглобли и пошёл к огню, где Курак что-то рассказывал обозным, а обозные смеялись. Хасан-бек остался сидеть.

Светильник догорал. Масла в нём было на час, он наливал его сам. Можно было долить: кувшин стоял у колеса, в шаге. Он не стал. Он сидел перед закрытой книгой и смотрел на её кожаный переплёт, на полоски закладок, и одна закладка была на новой странице, где под чертой стояло одно имя.

От телег, где спали русские, кто-то негромко ходил взад и вперёд. Хасан-бек пригляделся. Это была торговка из-под навеса, Неждана, с пустой корзиной. Она дошла до складской стены, как ей сказали, и стояла там, и не решалась разбудить.

Хасан-бек подумал и встал.

— Нежата, — сказал он в темноту, к телегам, громко и по-русски, как на пристани вызывают купца к весам. — Черниговский. Кузнец. К тебе пришли.

Глава 6. Зола



Виряс



Ултимер, паромщик



переправа Ултимера

Атнер. Переправа — Хулаш — лес, 26 июня — 1 июля 1223 года

Паром стоял у берега, и вода под настилом шла тяжело, ржаного цвета, с сором после дождей.

Возили с рассвета. Сначала телеги, по одной, потом русских, потом обозных с лошадьми, и паром каждый раз уходил на тот берег низко, почти вровень с водой, а возвращался лёгкий и прыгал на волне. Паромщик стоял на корме с шестом и ни разу не присел. Звали его Ултимер. Он был немолодой, сутулый, с руками до колен, и, когда паром подходил к берегу, он не смотрел на берег, а смотрел в воду у борта, будто считал там что-то своё.

Плату Хасан-бек отсчитал ещё утром. Ултимер плату взял, но не сразу: сперва спросил, кто положит дар. Хасан-бек сказал, что дар не записан. Ултимер сказал, что плату он возьмёт и так, а без дара никого не повезёт, и отвернулся к реке, и стоял так, пока Курак не вынес из телеги пять мер проса и не высыпал в воду с края настила, горстями, неторопливо. Хасан-бек смотрел, как просо уходит в воду, и шевелил губами. Потом открыл книгу и записал. Потом Ултимер взял шест.

Халим, у которого рука ещё не зажила после брода, полез на мелководье отмывать старую повязку. Ултимер сказал ему с парома, не повышая голоса:

— Кровь смоешь — она вниз пойдёт, к рыбакам. Хочешь — мой. Только потом не спрашивай, отчего рыба горькая.

Халим постоял в воде и вылез.

Кăвака оставили напоследок.

Кăвак дошёл до досок и встал. Не заупрямился — просто встал, как встают перед ямой, и повёл ушами назад, на Атнера.

— Он настила боится, — сказал Атнер.

— Все боятся. — Ултимер вытер руки о порты и взял повод. На Атнера он не смотрел. — Отойди, командир. Он тебя слушает, а надо, чтоб меня.

Атнер отошёл на три шага. Дальше ноги не пошли.

Ултимер снял с шеи мешок, в котором носил хлеб, вытряхнул крошки и надел коню на голову. Кӑвак дёрнулся раз, другой и затих, только бока ходили. Тогда паромщик повернул его крупом к воде и потянул повод вниз, к земле, будто просил поклониться.

— Задом, — сказал он коню, как говорят ребёнку. — Задом не видно, куда ведут. Оттого и идёшь.

— Человек бы не пошёл, — сказал Атнер.

— Человек бы не пошёл, да. Человек бы стоял и спорил.

Первое копыто стукнуло по доске. Кӑвак присел на задние ноги и постоял так, и Атнер увидел, что держит в кулаке край собственного плаща. Второе копыто. Настил загудел. Конь прядал ушами под мешковиной и шёл.

Когда отвалили, Ултимер уже стоял на корме с шестом.

— Дар-то положишь? — спросил он, не оборачиваясь.

— Просо клали.

— Просо за телеги клали. За людей клали. — Ултимер налёг на шест. — А он у тебя не телега.

Атнер полез в кошель. Своего серебра после крыши над отцовскими сенями осталось два обрезка. Он взял один, подержал на ладони и опустил в воду у самого борта, чтобы никто не видел, как далеко он умеет бросать. На берегу, который уходил назад, Хасан-бек смотрел, из какого кармана кошеля он достаёт, и, разглядев, закрыл книгу.

— Кладу.

— Ну вот. — Ултимер налёг на шест. — За коня положил, значит, за коня и спросится.

С того берега уже тянуло дымом и рыбой, и Кӑвак под мешком чихнул. Атнер засмеялся — коротко, первый раз с весны. Ултимер обернулся на смех и ничего не сказал.

На том берегу, сводя коня по сходне, паромщик протянул Атнеру мокрую ладонь.

— Атнер, — сказал он.

Он сказал это так, как говорила мать: с ударом на конце и мягко, без столичного «э». В Болгаре так не говорил никто, даже отец.

— Откуда знаешь?

— Бабы на том берегу знают, кто едет. — Ултимер забрал с конской головы свой мешок и повесил на шею. — Езжай. Дед мой тут тонул дважды. А третий раз река передумала.

* * *

У протоки ниже переправы стояли марийские лодки.

Лодки были узкие, долблёные, и в каждой сидело по двое, и все смотрели на отряд. Курак, пока грузились, успел размотать сеть — взял её в Ага-Базаре за два гвоздя и вёз, не говоря никому, — и уже шёл по берегу к протоке, прикидывая, где ставить.

Из крайней лодки вылез человек и пошёл ему навстречу по мелководью. Невысокий, в мокрых портах, с бородой клином. Он остановился в пяти шагах от Курака и сразу стал кланяться и что-то говорить, быстро, по-своему, мешая марийские слова с суварскими.

— Он просит прощения, — сказал Курак, не поворачивая головы. — Что спрашивает.

— Что спрашивает?

— Не знаю ещё. Он пока только прощения просит.

Марийца звали Йӳксерге. Он был старший у рыбаков. Когда он наконец дошёл до дела, дело оказалось простое: протока их, рыба в ней их, сети в ней ставят их роды, и если чужие поставят свою, рыба уйдёт, а рыбаки будут виноваты перед своими стариками. Он говорил это и всё время извинялся, и извинялся он так, будто это он собирался ставить сеть в чужой протоке, а не Курак.

— Скажи ему, — сказал Атнер, — что сеть мы ставим ниже.

Курак сказал. Йӳксерге выслушал, опять поклонился и опять извинился, теперь за то, что их протока такая длинная, и показал рукой, где она кончается. Кончалась она за вторым мысом.

Курак свернул сеть.

— За вторым мысом, — сказал он Атнеру, — рыбы нет. Он это знает. Я это знаю. Вот за это он и просит прощения.

Вечером Йӳксерге сам привёз к костру корзину плотвы. Денег не взял. Взял у Уйӑпа горсть соли, долго благодарил и за соль просил прощения тоже.

* * *

До Хулаша шли два дня долиной, по дороге, которую недавно подсыпали, и на второй день вечером увидели его.

Город стоял на мысу над рекой, как стоял всегда, и был как город: тын, ворота, крыши, дым. Только тын был светлый, из свежего леса, ещё не посеревшего. И крыши светлые. И ворота новые, с неободранной корой на верхнем бревне. Всё, что стояло на мысу, было выстроено за три года, и было видно, что строили торопясь, из того, что рубили рядом.

Старое лежало ниже, на склоне к воде, где раньше был посад.

Там ничего не строили. Там была трава, высокая, лопухи и крапива, и из крапивы торчали чёрные нижние венцы срубов, и печи. Печей было много. Глиняные, осевшие, с провалившимися устьями, они стояли в траве рядами, по улицам, которых уже не было, и было видно, где улица поворачивала.

Гордята остановился на дороге.

Он стоял и смотрел вниз, на печи, и русские, которые шли за ним, обходили его, как обходят телегу, и шли дальше, к воротам. Нежата оглянулся на него и ничего не сказал. Любава оглянулась и не поняла.

Потом Гордята сошёл с дороги и пошёл вниз, по склону, в крапиву.

Атнер отдал повод Кӑвака Салиху.

— Лагерь у ворот, — сказал он. — Огонь малый.

— А ты?

Атнер не ответил. Салих посмотрел вниз, на склон, на спину русского в крапиве, и взял повод.

* * *

Атнер спустился не за ним, а левее, по краю оврага, туда, откуда дул ветер.

Он не думал об этом. Ноги сами взяли левее и выше, на ветер, так, чтобы от печей тянуло не на него, а от него. Три года назад ветер был с реки. Три года назад он стоял не здесь, а ниже, на том берегу, на лугу у брода, и дым шёл на него всю вторую половину дня, и мокрый луг под копытами был чёрный от сажи, которая падала сверху, как мелкий снег.

Теперь печи ничем не пахли. Пахло крапивой и рекой.

Гордята стоял посреди бывшей улицы, возле печи, у которой уцелела труба. Он присел на корточки и взял рукой землю у её подножия. Земля была чёрная сверху и серая глубже, и когда он разжал пальцы, на пальцах осталось серое.

Он не обернулся, но знал, что Атнер тут. Сказал, глядя на свою руку:

— Тут посад стоял. Вон там — тын. Вон там к воде ходили, тропа была. — Он показал пальцем в пустую траву. — Я это место с той стороны помню.

— С какой — с той? — спросил Атнер.

— С той, где мы жгли. — Гордята сказал это ровно, как говорят, откуда пришёл обоз. — Три года назад. Наша рать, князя Святослава. Я вон там стоял, на мысу. Ветер был с реки.

— С реки, — сказал Атнер.

Гордята поднял на него глаза. Атнер смотрел на печь.

Сверху, с дороги, по той же тропе, что Гордята, спускались двое. Ахтупай шёл медленно, выставив вперёд палку, и крапиву не раздвигал, а шёл сквозь неё, потому что штаны у него были толстые. За ним шёл Курак — видимо, чтобы старик не упал. Они остановились поодаль. Ахтупай оперся на палку и стал смотреть на печи, как смотрят на поле соседа.

Курак постоял, потом тоже присел и потрогал землю у ближнего сруба. Растёр в пальцах. Понюхал.

— *Кĕл сивĕнет, çĕр асрах тытать*«Зола стынет, земля дольше помнит», — сказал он, ни к кому не обращаясь.

Атнер перевёл. Гордята кивнул.

— Пусть помнит, — сказал он. — Мне легче, когда помнит кто-то, кроме меня.

— Теперь ты идёшь с булгарами, — сказал Атнер.

— Иду. — Гордята отряхнул руку о колено, но серое не отряхнулось. — И это меня не мучает, командир. Вот что худо. Раньше думал: если приду сюда, сердце зайдётся. А оно ровное. Обгорелая земля и земля — одинаковые на ощупь.

— Что тебя тогда мучает?

Гордята помолчал.

— Что от Калки шли восемь дней, и каждый день кто-то садился. Сядет и рукой машет: иди. И я шёл. — Он встал. — Восемь раз шёл.

Атнер переводил Ахтупаю, медленно, потому что слова «махнуть рукой» по-суварски говорят про другое. Старик слушал, наклонив голову.

— А те, кто махал, — сказал Ахтупай. — Они тебя куда посылали? Умирать рядом или дальше идти?

Атнер перевёл.

— Дальше, — сказал Гордята.

— Ну так ты покуда не ослушался ни разу, — сказал Ахтупай и пошёл обратно к дороге, сквозь крапиву, не оглядываясь, будто сказал, что каша готова.

Курак пошёл за ним.

* * *

Они остались вдвоём. Солнце уже легло на реку, и тени от печей протянулись по траве длинно, до самого оврага.

— Ваш камень-хмель, — сказал Гордята. — Как он? Скажи по-своему.

Атнер знал это по-суварски. Он слышал это не в шатре на Городце, а раньше, мальчишкой, от Ятмана, когда тот ругался с кем-то из соседей и мирился: так говорили старики, когда клялись не ссориться до смерти. Ятман говорил это смеясь.

— *Хăçан чул шыв çине ишет, хăçан хăмла путать — çавăн чухне вăрçă пулĕ*«Когда камень поплывёт, а хмель утонет — тогда и будет война», — сказал Атнер. Потом повторил по-русски, как сумел. — Клятву давали, чтобы не воевать.

Гордята долго молчал.

— У нас в грамоте сказано — не будет мира, — сказал он. — А у вас — будет война. Одно и то же. — Он посмотрел на печь. — Значит, клялись не мстить. А я думал — клялись помнить.

Атнер не ответил. Он мог сказать: я был на том берегу, на лугу у брода, и тащил ваш заслон по мокрой траве две версты, пока посад шёл через воду, а дым шёл на меня, и отец

мой лежал на том же берегу с рубленым бедром. Слова были все, по-русски он их знал, кроме «заслон». Он стоял и не говорил ни одного.

Гордята посмотрел на свои руки. Серое вошло в кожу вокруг ногтей и в трещины на пальцах.

— Зола не смывается сразу, — сказал он. — Три раза мыть.

И пошёл к реке мыть.

Атнер постоял ещё. Потом поднялся по краю оврага, опять левее, опять на ветер, хотя ветра уже никакого не было, и у ворот сел к огню, и Салих молча подал ему миску. Атнер отложил первую ложку на край камня у огня. Салих это видел и ничего не сказал. Он давно это видел.

От реки Гордята вернулся затемно, и руки у него были красные от песка.

* * *

На третий день после Хулаша, на тропе к Таяпе, в сужении между оврагом и лесом, навстречу вышли половцы.

Их было десятка три, может, больше, считая тех, кто шёл пешком за телегами. Верховых — человек пятнадцать, на худых конях, и у каждого лук, и все луки были в руках, а не в налучьях. За верховыми шли две кибитки, у одной не было полога, и в ней сидели женщины и дети, и сидели так тесно, что не шевелились. Позади гнали штук двадцать овец, и овцы были худые, как кони.

Обе стороны остановились. Между ними было шагов шестьдесят, и тропа была одна.

Атнер поднял руку, и за ним встали. Он слышал, как за спиной, у телег, кто-то из русских сказал одно слово, короткое, и как Нежата сплюнул. Гордята стоял у второй телеги и держался за её борт. Держался так, что у него побелели пальцы.

Русские знали эти шапки. На Калке эти шапки бежали первыми. Бежали через русский строй, и кони шли по людям.

Половцы тоже увидели русских. Передний, седой, в рваном кафтане, долго смотрел на телеги, на рубахи с косым воротом, на женщин, потом на золото у Атнера на лбу. Потом что-то сказал своим, и луки не опустились, но наконечники ушли вниз, к земле.

— Спроси, — сказал Атнер молодому кыпчаку, — куда идут.

Кыпчак выехал вперёд на десять шагов, не больше. Он говорил с седым долго, и седой отвечал ему коротко и зло, и один раз показал рукой назад, на юг, и один раз на русских.

— Идут на полночь, — сказал кыпчак, вернувшись. — От Дона. У них хан убит, стан разбит. Идут к кому-нибудь, кто возьмёт. — Он помолчал. — Спрашивает: вы полон гоните? Русских продавать?

— Скажи: нет.

— Он не поверит.

— Скажи.

Кыпчак сказал. Седой посмотрел на русских ещё раз. Русские стояли у телег и смотрели на него, и никто из них не выглядел полоном: у Нежаты в руке был топор, которым он колол дрова, у Путяты — вилы.

— Салих, — сказал Атнер. — Коней в поводу. Налево, на склон. Всем.

Салих посмотрел на него. Потом слез с коня. За ним стали слезать всадники, и это было слышно — скрип сёдел, звяканье, чей-то вздох, — и половцы слышали это тоже. Отряд сошёл с тропы на левый склон, к лесу, и встал там, в траве, держа коней под уздцы, и тропа между оврагом и лесом стала пустая.

Хасан-бек сошёл со своей кобылы последним и встал рядом с Атнером.

— Если они сейчас стрелять начнут, — сказал он тихо, — у нас все в поводу.

— Не начнут.

— Откуда знаешь?

— У них дети в кибитке.

Хасан-бек подумал и больше ничего не сказал.

Седой стоял долго. Потом тронул коня. Половцы пошли по тропе, мимо, шагом, в двадцати шагах от отряда, и никто не опускал лука, и никто не поднимал. Шли верховые, смотрели на булгар. Прошла первая кибитка. Прошла вторая, та, без полога, и Атнер увидел в ней мальчишку лет пяти, который спал, привалившись к матери, открыв рот.

С кибитки на русских смотрела женщина. Немолодая, с обветренным лицом. Она смотрела на Любаву, которая стояла у телеги с обрезком ремня в руке, и Любава смотрела на неё. Когда кибитка поравнялась с телегами, женщина сказала что-то, негромко, по-своему.

— Что она? — спросил Гордята.

Молодой кыпчак замялся.

— Говорит: и вас гнали.

Гордята ничего не ответил. Любава тоже. Кибитка проехала. Позади прошли пешие, и овцы, и последний верховой, совсем мальчишка, который всё время оборачивался.

Когда хвост скрылся за поворотом, Атнер сел в седло. За ним стали садиться остальные.

— Полмешка проса, — сказал Хасан-бек, ни к кому не обращаясь. — Я думал, ты им дашь полмешка проса.

— Не просили.

— Попросили бы.

— Тогда бы дал.

Хасан-бек открыл книгу, посмотрел в неё и закрыл. Записывать было нечего. Он, кажется, был этим недоволен.

Гордята отпустил борт телеги и разогнул пальцы по одному.

* * *

Вечером, когда ставили лагерь на опушке, из леса вышел человек и сел к огню.

Он вышел не таясь, со стороны, где стоял дозор, и дозорный, Мансур, пропустил его, потому что человек шёл и улыбался, и в руках у него ничего не было, а лук висел за спиной. Молодой, лет двадцати пяти, светлый, в лаптях и в холщовой рубахе, подпоясанной ремнём, и на ремне висело столько всего — нож, кресало, мешочек, рог, какая-то косточка на шнурке, — что он звякал на ходу, как коробейник.

Он сел к огню, протянул руки и сказал по-суварски, с ошибками, весело:

— Долго вы. Я с полудня тут сижу.

— Ты кто? — спросил Салих.

— Виряс. Эрзя. — Он показал рукой в лес, на восток. — Оттуда.

— Зачем сидишь?

— Смотрю. Вы шумите, как свадьба. За полдня слышно. — Он повернулся к Атнеру и поглядел на личину на лбу. — Я думал сначала — это они. Потом посмотрел: нет. Эти по лесу ходят, как по ярмарке. Те бы тихо шли.

— Видел их? — спросил Атнер.

— Их — нет. — Виряс перестал улыбаться, но только на миг. — Видел, кто от них бежит. Половцы ваши, что утром проходили, — это ещё не они. Это те, кто бежит от них. За неделю третьи. — Он опять улыбнулся. — А вы куда? От них или к ним?

— Навстречу.

— Навстречу, — сказал Виряс и почесал за ухом. — Ну, тогда я с вами. Дорогу к Таяпе знаю. И дальше знаю. Кормить будете?

Хасан-бек, сидевший у соседнего огня, поднял голову от книги.

— Он кто по счёту? — спросил он у Атнера по-булгарски.

— Проводник.

— Статья проводников есть, — сказал Хасан-бек с облегчением и написал.

* * *

Ночь была тёплая, без росы. Лагерь спал. У крайнего огня сидели трое, которым не спалось.

Хасан-бек в тот вечер молился поздно. Он отошёл от огня, расстелил на траве свой коврик, узкий, вытертый на месте колен, встал, постоял и повернулся. Потом повернулся ещё чуть-чуть, на ладонь. Атнер видел, что он делает это не наугад: он весь день помнил, где садилось солнце.

Гордята смотрел на него от огня, пока он не кончил. Когда Хасан-бек вернулся и сел, свернув коврик, Гордята спросил:

— Ты в какую сторону кланяешься, бек?

— На юг и немного к закату, — сказал Хасан-бек. — *Кыбла*«сторона Мекки».

— Точно туда?

— Точно. Я считал.

Ахтупай, который лежал у огня на спине и, как думали, спал, сказал, не открывая глаз:

— А мы, выходит, в какую сторону?

Хасан-бек посмотрел на сувар, спящих под телегами.

— Вы кланяетесь вверх и во все стороны сразу, — сказал он.

— Мы не кланяемся, — сказал Ахтупай. — Мы подаём. Первую ложку — в огонь. Вот он знает. — И опять показал подбородком, теперь на Атнера.

— У нас на Пасху тоже кладут на могилу, — сказал Гордята. — Яйцо. Хлеба.

— У нас за это порицают, — сказал Хасан-бек.

— А делают?

Хасан-бек помолчал. Он смотрел в огонь, и Атнер видел, что он сейчас, как всегда, сперва считает, сколько можно сказать.

— Делают, — сказал он. — Мать делала. На могилу отцу. Хлеб клала и воду ставила. *Ля хауля ва ля куввата илля би-Ллях*«Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха». Я ей говорил: мама, это обычай, а не вера. Это записано, что нельзя.

— И что она? — спросил Гордята.

— Сказала: сынок, ты считаешь меры, — сказал Хасан-бек. — А я считаю, сколько его нет.

Глава 7. Столб без имени



Эрнепи, мать

Атнер. Мăн Таяпа — Хурăнвар, 2–4 июля 1223 года

У ворот Таяпы стоял мальчишка с ведром воды.

Ведро было полное, до края, и тяжёлое, и мальчишка держал его двумя руками перед собой, отставив зад, чтобы не облиться, и так стоял, похоже, давно: руки у него дрожали. Ворота были открыты. Стража на валу смотрела на отряд сверху, лениво, а мальчишка стоял внизу, посреди дороги, так, что объехать его можно было только по канаве.

Атнер остановил Кăвака.

— Пить, — сказал мальчишка и поднял ведро. — Коням. И вам.

Никто не просил. Кони учуяли воду и потянулись, и Кăвак потянулся первым. Атнер отпустил повод. Конь пил из ведра, а мальчишка держал ведро и смотрел не на коня, а на Атнера, на личину, и глаза у него были круглые.

— Ты Золотое лицо, — сказал он.

— Нет.

— А кто?

— Атнер.

Мальчишка повторил: «Атнер», шевельнув губами без звука, как повторяют, чтобы запомнить, и сразу, без передышки:

— Возьми меня.

— Нет.

— Мне шестнадцать.

Ему было лет тринадцать. Худой, в отцовской, видно, рубахе, подвёрнутой в рукавах, босой, и на верёвке вместо пояса висел нож в деревянных ножнах, длиной с его руку от локтя до пальцев. Нож был взрослый, старый, с рукоятью, обмотанной берестой.

— Я быстро бегаю, — сказал мальчишка. — Я вам воду носить буду.

— У нас есть кому.

Кăвак допил и поднял голову. Мальчишка переставил ведро к следующему коню, к Салихову, и тот тоже стал пить.

— Я тропы знаю, — сказал мальчишка. — Все. До Тикаша знаю, до Суры знаю.

— У нас проводник, — сказал Атнер и показал на Виряса.

Виряс помахал мальчишке рукой. Мальчишка на Виряса не посмотрел.

— Как звать? — спросил Атнер.

— Тукташ. — Мальчишка поставил ведро, потому что оно опустело, и выпрямился. — У меня отца нет. Степняки два года назад. Меня тут никто не держит. Я никому не нужен. Возьми.

Он сказал это без жалобы, как третий довод после первых двух, и Атнер понял, что доводы он придумал заранее, стоя тут с ведром, и расставил по порядку, и последний оставил самым сильным.

— Нет, — сказал Атнер. — Ведро отнеси. Мать заругает.

— Матери тоже нет.

— Тогда тот, чьё ведро.

Тукташ посмотрел на ведро, как будто только сейчас понял, что оно чьё-то, взял его за дужку и пошёл в ворота, не оглядываясь. У самых ворот обернулся.

— А этого как звать? — Он показал на Салиха.

— Салих.

Мальчишка шевельнул губами и ушёл.

* * *

Сотник Таяпы, Албар, пустил отряд за вал и дал сена, и сказал, что три года не получал смены, и спросил, не везут ли ему письма из столицы. Писем не везли. Албар кивнул, будто так и думал, и пошёл спать: он спал днём, потому что ночью ходил по валу.

У колодца, пока поили коней, к Вирясу подошёл местный старик, старейшина суварского конца, и спросил его по обычаю, чей он и откуда. Спросил не строго, но спросил, как положено, стоя, и Виряс встал тоже и снял шапку, и все, кто был у колодца, повернулись слушать.

Отвечал Виряс долго.

Он назвал свой род, и род матери, и где стоит их село, и какая там речка, и что речка мелкая, а раков в ней много. Потом сказал, чей он по деду и что дед его был охотник и однажды ушёл за лосем на Суру и вернулся через три года, женатый на буртаске, отчего у Виряса глаза светлые, а нос кривой. Потом сказал, что князя у него нет: Пургас его не звал, а Пуреш его звал, да он не пошёл, потому что у Пуреша кормят плохо. Потом сказал, что зовут его Виряс, а откуда он теперь — он и сам не знает, потому что со вчерашнего вечера он отсюда, из-под этого колодца.

Старик слушал, опираясь на палку, и на кривом носе стал смеяться, а на Пургасе перестал.

— Ну, — сказал старик, когда Виряс кончил. — Чей ты, я понял. Проходи.

Салих, который понял из всего этого одно слово «Пургас», спросил Атнера по-булгарски, что это было.

— Он сказал, чей он.

— Так долго?

— Ему было что сказать, — сказал Атнер.

* * *

Могилы Таяпы лежали за валом, на пологом бугре, и лежали двумя кустами.

Ближе к воротам, где земля была ровнее, стоял гарнизонный *масар*«кладбище»: невысокие холмики, обложенные дёрном, без знаков, в рядах. Дальше, за старой берёзой, начиналось суварское кладбище, и там стояли столбы. Столбы были старые, серые, иные покосились, иные упали и лежали в траве, и на каждом, кто подходил ближе, видел метку, вырезанную ножом.

Хасан-бек пошёл к гарнизонным. Шёл он медленно, по тропе между рядами, и у края остановился и стал читать.

Читал он негромко, по-арабски, не заглядывая ни в какую книгу. Атнер разобрал только начало, потому что его читали и над отцом, в Болгаре, у ворот, когда выносили: *Ас-саляму алейкум, ахль ад-дияр*«Мир вам, жители этих жилищ». Дальше Атнер не разобрал. Юсуф стоял за беком в двух шагах и шевелил губами вслед, отставая на слово.

Курак ходил между столбами на суварской стороне и что-то бормотал, трогая столбы рукой. Уйăп и Хурçă встали у первого столба и сняли шапки. Ахтупай сел на поваленный столб, как на лавку, и снял шляпу и положил на колени.

Гордята подошёл к Кураку и спросил, показывая на оба куста по очереди:

— А эти почему так, а эти так?

Курак понял без Атнера, по руке. Он показал на гарнизонных: голову — на юг, чуть вбок. Показал на своих: голову — на закат. Потом пожал плечами и сказал по-суварски длинно, а Атнер перевёл коротко:

— Говорит: одних головой к их городу, других к закату. Какая разница, в какую сторону лежать, если лежишь смирно.

— А копать кто копал?

Курак выслушал и ткнул себя пальцем в грудь, потом развёл руками — и тех, мол, и этих.

— Говорит: в молодости тут два года копал, при гарнизоне, за хлеб. Тем одна яма, узкая, с нишей, этим — другая. Земля одна.

Гордята посмотрел на бугор, на два куста могил и на Хасан-бека, который всё ещё стоял и читал, и потом — на Ахтупая на поваленном столбе.

— Ваш старик на мертвеце сидит, — сказал он.

Атнер перевёл Ахтупаю. Ахтупай посмотрел под себя.

— Это Ишмен, — сказал Ахтупай. — Мы с ним сорок лет спорили, чей мёд лучше. Пусть теперь потерпит.

* * *

Из Таяпы вышли на рассвете.

Тукташ шёл за отрядом. Атнер увидел его, когда оглянулся на первом подъёме: мальчишка шёл по дороге шагов за двести позади хвоста, босой, с ножом на верёвке, и не прятался и не догонял. Когда отряд остановился напоить коней у ручья, мальчишка остановился тоже, сел у дороги и стал смотреть.

— Прогнать? — спросил Салих.

— Сам отстанет.

Мальчишка не отстал до полудня. Он шёл и шёл, и один раз, на броде, подобрался ближе, к самым телегам, и Путята, русский, его ровесник, что-то ему крикнул и помахал рукой, и мальчишка помахал в ответ, хотя ни слова не понял. Потом дорога вошла в лес.

У опушки Атнер оглянулся ещё раз. Мальчишка стоял на краю поля, там, где кончалась трава и начиналась тень, и дальше не шёл. Стоял и смотрел.

Атнер поднял руку. Не помахал — просто поднял.

Мальчишка постоял и повернулся к Таяпе.

* * *

Хурăнвар не было видно с дороги. Он лежал в овраге, за берёзовым мыском, и дорога проходила мимо него, и кто не знал, тот проезжал. Атнер знал. Он свернул на тропу, не глядя, и Кăвак свернул раньше него.

Сначала был запах. Дым из четырнадцати труб, навоз, липовый цвет. Потом овраг, и ключ в овраге, и мостки через ключ, и Кăвак прошёл по мосткам, хотя настила боялся, потому что эти мостки он знал ногами с жеребёнка. Потом крайний двор, и плетень, и за плетнём залаяла собака.

Атнер остановил коня.

Собака была большая, серая, на верёвке, и верёвка была длинная. Атнер смотрел на собаку и ждал. Шрам на левом запястье зачесался. Он потёр его о луку седла.

— Боишься? — спросил Виряс весело.

— Жду.

Из-за плетня вышел мужик, свистнул, и собака ушла под крыльцо. Атнер тронул Кăвака.

У воротного столба посреди *курмыша* «деревенского конца» стоял старик. Стоял он там, видно, с самого первого лая, потому что был уже одет в чистое и держал палку прямо перед собой, двумя руками, как держат, когда встречают. Старик был высокий, костистый, с бородой, подстриженной ровно, и Атнер знал его: это был Сехвер, материн двоюродный, который косил ей за долю.

Атнер ехал к нему в личине. Он не опустил её на лицо — она лежала на лбу, — но снять не снял, потому что ехал с дороги и не подумал. Сехвер смотрел на золото над его глазами.

— Стой, батюшка, — сказал Сехвер. — По обычаю. Чей ты и откуда?

— Авангард эмира, — сказал Атнер. — По слову наместника.

Он сказал это раньше, чем подумал, теми словами, какими говорил у каждых ворот правобережья семь лет. Слова вышли сами, как выходит нога из стремени.

— Это должность, — сказал Сехвер. — Я спросил, чей ты.

Сзади стало тихо. Даже Виряс не звякнул.

Атнер снял личину со лба и повесил её на луку седла, за ремешок. Слез с коня.

Сехвер смотрел на его лицо долго. Потом опустил палку.

— Эрнепи сын, — сказал Сехвер. — Так бы и сказал. — И добавил, отступая в сторону, уже по-другому, по-соседски: — Там у тебя сборщик сидит. С утра сидит. Ты приезжай не в *юпа*«месяц столбов», а в жатву, толку больше.

* * *

Сборщик сидел на бревне у общего амбара. Немолодой, в чистом, с безменом у ног и с медной чернильницей на поясе. Двое стражников стояли у его коней и отгоняли мух. Амбар был открыт, и у двери толпились мужики, и никто не разговаривал.

Сабира Атнер знал в лицо: тот собирал подати по правобережью, сколько Атнер себя помнил на службе, и ни разу ни на чём не попался.

— Командир, — сказал Сабир и встал. — Вовремя.

Он показал грамоту. Грамота была от наместника, с печатью: военный сбор с куста Хурăнвар — сорок мер зерна, срок — по прибытии сборщика.

— В амбаре тридцать одна, — сказал Сабир. — Я мерил дважды. — Он показал на безмен, будто безменом мерил зерно. — Девяти мер нет. Девять мер я возьму железом. Сошники у них хорошие.

Мужики у амбара слушали, и Атнер видел по их лицам, что это они слышат уже третий раз с утра, и что про сошники они поняли всё, что надо было понять.

— Сошники возьмёшь, — сказал Атнер, — зябь пахать нечем.

— Знаю. — Сабир говорил спокойно и устало. — Грамота не спрашивает, чем пахать. Командир, я не вор. Это на гарнизон. Гарнизон стоит между ними и степью.

— Знаю, что не вор.

Хасан-бек подъехал и сошёл с кобылы, и Сабир, увидев его, поклонился ниже, чем Атнеру. Хасан-бек взял грамоту, прочёл, посмотрел на печать, посмотрел на амбар.

— Тридцать одна, — сказал он.

— Тридцать одна, бек. Дважды мерил.

Атнер сказал, глядя не на Сабира, а на мужиков у амбара:

— До жатвы. Свезут снопы — привезут сами.

Сабир посмотрел на него, как смотрят на человека, который сказал что-то не на том языке.

— До жатвы — это когда, командир? Мне в грамоте писать.

— Как свезут снопы.

— Это не срок.

Хасан-бек открыл книгу.

— Первого дня месяца *Авăн*«овинного месяца», — сказал он Сабиру. — Сорок мер, куст Хурăнвар, отсрочено до первого дня Авăн по слову командира авангарда. Под мою руку. — Он поднял глаза. — Хасан-бек, десятина пристани. Бывшая.

— Я знаю, бек, — сказал Сабир и опять поклонился.

— Тогда пиши.

Сабир отвинтил крышку на чернильнице, сел обратно на бревно и стал писать на колене. Писал он хорошо, быстро. Мужики у амбара не расходились. Потом один из них, молодой,

закрыл амбар и заложил засов, и остальные пошли по дворам, всё так же не разговаривая, и только один, уходя, сказал вполголоса другому: «Как свезут снопы, так и привезём», — и тот ответил: «Ну».

Хасан-бек закрыл книгу и сказал Атнеру по-булгарски, тихо:

— Ты сейчас дал слово за четырнадцать дворов.

— Дал.

— Они его не давали.

— Слышали, — сказал Атнер.

Хасан-бек подумал и больше ничего не сказал.

Сабир остался ночевать в поле, за околицей, со своими стражниками: в дома его не звали. Под вечер Атнер видел, как к их огню вышла из ближнего двора женщина и поставила на траву миску, накрытую лопухом, и ушла, не заговорив.

* * *

Материн двор был третий от ключа.

Атнер вёл Кăвака в поводу. Ворота были открыты. Во дворе никого не было, только куры, и у стены сарая стоял стан с натянутой основой, и основа была белая.

Мать вышла из сеней, вытирая руки о передник.

Она подошла, не посмотрев на него, взяла у него из руки повод и повела Кăвака к столбу у сарая. Там она привязала коня, распустила подпругу, сунула ладонь под потник и подержала.

— Потный, — сказала она. — Ты его гнал по жаре.

— Гнал.

— Ну вот.

Она сняла потник, перевернула и повесила на жердь сохнуть. Провела рукой коню по шее, по груди, по передним ногам, до бабок. Потом выпрямилась и только тогда обернулась к нему.

— Здоров?

— Здоров.

— Руки мой. Вон кадка. — Она посмотрела на Виряса, который стоял в воротах. — Ты, эрзя, не стой в воротах, стой в тени. Солнце.

Виряс шагнул в тень и сказал тихо, ни к кому:

— У нас так же. Сперва конь, потом человек. Правильный дом.

Мать была ниже Атнера на голову. Лицо у неё было узкое, загорелое по всей коже, без полосы, как у тех, кто не носит железа, и сухое, и на скулах мелкие трещинки. Атнер мыл руки в кадке и смотрел на неё сбоку. Виряс смотрел на них обоих.

— Командир, — сказал Виряс по-суварски, со своими ошибками. — А рот-то у тебя её.

Мать на Виряса не посмотрела. Атнер тоже.

— Солома в сенях, — сказала мать. — Ляжешь там. В избе душно.

— Мама. — Атнер отряхнул руки. — Вдова отца велела сказать. Вяз у ворот она не срубила. Ты просила.

Мать стояла у кадки и смотрела на воду.

— Вяз, — сказала она. — Ну пусть стоит.

Больше она про вяз не сказала. Она потрогала его пояс, там, где на внутреннем ремешке, под рубахой, висел холщовый свёрток величиной с орех.

— Уточку носишь?

— Ношу.

— Молчит?

— Молчит.

Она кивнула, как кивают, когда всё на месте.

* * *

Столб Ятмана стоял за околицей, на бугре, где стояли столбы всего Хурăнвар.

Он был новее других. Дубовый, в рост, обтёсанный на четыре грани, с плоским верхом, как ставят мужику. Дуб за год потемнел, но не посерел. На гранях не было ничего. Ни метки, ни зарубки. Вокруг столба трава была выкошена, аккуратно, кругом в две сажени, и у подножия лежала плоская плошка, пустая, с дождевой водой на дне.

Мать остановилась у столба и положила на него руку.

— Он в юпа прошлого года лёг, — сказала она буднично. — Скосил, сел у стены и лёг.

— Мне сказали. Весной.

— Весной. — Она помолчала. — Соседи ставили. Курак копал. Столб стоит пустой, сынок. Имя резать некому. Я не мужик, а мужик у меня один, и тот в железе.

Атнер достал из-за пояса нож. Нож был Ятманов — короткий, с роговой рукоятью, со сточенным на треть лезвием. Ятман отдал его, когда Атнеру было двенадцать и отец забирал его в город, и сказал: «Этим хлеб не режут».

— Как он хотел?

— Как все. Род сверху. Его под родом. — Мать отвела руку. — Он тебя учил. Ты в двенадцать лет чужим резал за лепёшку.

— Учил.

Он приложил нож к грани и надавил.

Дуб был твёрдый, а нож короткий, и первая зарубка ушла косо, вниз, туда, куда её не надо было. Атнер остановился и посмотрел.

— Рука привыкла к другому, — сказал он.

— К чему привыкла, тем и режь. Ему не в приданое.

Он резал долго. Сначала знак рода, тот, что стоял и на соседних столбах, — Атнер сверял с ними, оборачиваясь, — потом Ятманову метку под ним, ту, которой дядя метил свои ульи и своих овец. Щепа падала в траву, светлая, и пахла свежим дубом. Пальцы скоро заболели. Мать стояла рядом и не уходила и не говорила.

С бугра был виден курмыш — дворы гроздью вокруг большого старого двора, амбар, кузня у оврага. Из-за околицы, с дороги, доносился голос. Хасан-бек стоял у крайнего плетня и считал дворы. Считал он, как всегда, вслух, негромко и ровно, по-булгарски, и по ветру было слышно:

— …девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать с кузней.

Мать повернула голову.

— Это кто считает?

— Посланник. Он не по злу. Он всегда считает.

— Я и не говорю, что по злу. — Она смотрела в сторону плетня. — Я спрашиваю: он нас в какую бумагу пишет?

Атнер не поднял головы от работы.

— В податную.

— Ну так скажи ему, что двенадцатый двор нежилой, — сказала мать. — Кузнец помер, вдова одна. С неё брать нечего. — Она помолчала. — Ирпике её звать. Третий год одна.

Атнер вспомнил женщину у кузни. Когда он вёл Кăвака мимо оврага, у холодного горна стояла женщина в тёмном *супане*«женском головном покрывале» и мазала салом клещи, и, не поднимая головы, сказала ему вслед: «Левая задняя у него хлябает». Он проверил потом. Хлябала.

— Слышу, — сказал Атнер.

— Слышишь, — сказала мать.

Он кончил. Отошёл на шаг. Знак рода вышел как надо. Ятманова метка вышла криво: одна черта ушла вниз, как ушла первая зарубка, и поправить её было уже нельзя.

Мать посмотрела.

— Криво вышло.

— Криво.

— Ладно. — Она потрогала резьбу пальцем. — Зато глубоко. Дождём не смоет.

Она положила ладонь на столб, потом на плечо ему. Рука у неё была лёгкая.

— Ты у меня один остался, кто умеет резать, — сказала она. — Живи столько, чтоб и мне вырезал. Больше мне от тебя ничего не надо. И не носи сюда серебра. У нас его девать некуда.

Она нагнулась, вылила из плошки дождевую воду, вытерла плошку подолом и поставила обратно.

Атнер пошёл к плетню, где стоял Хасан-бек.

— Двенадцатый двор нежилой, — сказал он. — Кузнец помер. Вдова одна.

— Кто сказал?

— Я сказал.

Хасан-бек посмотрел на него, потом через плетень, на кузню у оврага, и на холодную трубу над ней. Раскрыл книгу. Записал, коротко.

— Ты мне это говоришь как командир, — спросил он, не поднимая глаз, — или как здешний?

Атнер не ответил. Хасан-бек, кажется, и не ждал.

* * *

Курак ночевал у себя. Под вечер Атнер видел, как он шёл по курмышу к своему двору, через два двора от Ятманова, и нёс за спиной сеть, которую так и не поставил, и из его ворот выбежали двое внуков, и один повис у него на руке, а другой стал отнимать сеть. Курак не отдал.

Атнер лёг в сенях, на соломе, не раздеваясь. Личину он оставил на луке седла, во дворе, у сарая, где стоял Кăвак. Он подумал о ней, когда ложился, и не встал.

В избе за стенкой мать молола. Ручной жёрнов шёл по кругу, глухо, ровно, и останавливался, и опять шёл, и было слышно, как она подсыпает зерно из горсти. Так она молола, когда ему было шесть лет и он спал в этих же сенях, и под этот звук он тогда засыпал, а сейчас не мог.

Он лежал и считал. Отряд. Обоз. Тридцать при отряде. Ильгам, Ахтупай, Виряс. Сорок мер, тридцать одна, первый день Авăн. Четырнадцать дворов. Двенадцатый нежилой.

Жёрнов остановился.

— Сынок, — сказала мать через стенку. — Ты не спишь.

— Сплю.

— Кто тебе рубаху чинит?

Атнер потрогал ворот. Ворот был её, домашний, перешитый дважды, потому что шея стала толще.

— Сам.

За стенкой помолчали. Потом жёрнов пошёл опять.

Глава 8. Порядок слов



Ярмул



Илемпи
Хасан-бек. Тикаш хули — Мăн Юман, 5–8 июля 1223 года
Старый вал Тикаш хули был ниже, чем в описи.

В описи крепостей правобережья, которую Хасан-бек читал в палате лет шесть назад, стояло: «вал земляной, в три сажени, ров, тын». Вал был в две сажени, если мерить от дна рва, и в полторы, если от дороги. Рва не было: ров заплыл и зарос ивняком. Тына не было тоже, только кое-где из травы на гребне торчали чёрные пеньки, как зубы у старика. Хасан-бек отметил это ногтем на полях и подумал, что опись, выходит, переписывали, не выезжая.

На гребне вала сидел колдун и смотрел, как они подходят.

Так Хасан-бек назвал его про себя, как только увидел, и потом уже не мог назвать иначе, хотя знал, что колдуном тот не был. Старик лет шестидесяти, в белой рубахе, с узкой седой бородой, заплетённой на конце в косицу, с ножом на поясе и с палкой поперёк колен. Он сидел не шевелясь, пока отряд не подошёл к самому валу, а потом встал, опёрся на палку и сказал командиру сверху, по-суварски, громко, чтобы слышали все:

— *Эрнепи ывăлĕ*«Сын Эрнепи». Ты зачем в *Çинçе*«неделю, когда землю не тревожат» землю копал?

Командир остановил коня.

— Здравствуй, Ярмул.

— Здравствуй. — Старик стал спускаться с вала, боком, осторожно. — Я не про здравствуй спрашиваю. Мне Курак ещё вчера передал, через мальчишку из Хурăнвар. Девять ям. В Çинçе. Слова ты сказал сам, первую строку, и замолчал. А дальше? Земля что, первую строку послушала и дальше сама догадалась?

Хасан-бек понимал по-суварски, если говорили медленно. Старик говорил быстро, но так сердито, что каждое слово было отдельно, и бек понимал.

— Дальше Курак хлеб положил, — сказал командир.

— Хлеб. — Старик дошёл до низа и встал перед Кăваком, слева. Конь прижал уши. Старик на коня не посмотрел, и конь, подумав, уши поднял. — Хлеб — это доля. Доля — это одно. А слова — это другое. Хлеб без слов — это как серебро без счёта: взяли, а за что — никто не знает. Мне так дед говорил, а ему — его дед, когда в засуху копали.

Он встал прямо, снял шапку и сказал, не повышая голоса, но так, что обозные у телег сняли шапки тоже:

— *Çырлах çĕр хаярĕ, сана асăнатăп, витĕнетĕп, эсĕ ан кӳрен, ан сăхлан, чипер алла илмелле ту, çырлах*«Помилуй, грозная сила земли: тебя поминаю, тобой покрываюсь; не обижайся, не зарься, дай взять по-доброму, помилуй».

Хасан-бек смотрел не на старика. Он смотрел на командира.

Командир сидел в седле, и личина была у него на лбу, и лицо под ней было открыто. На словах «тебя поминаю» лицо не изменилось. На словах «дай взять по-доброму» у командира дрогнул рот, и он сжал его, и Хасан-бек увидел, как у него на скулах вздулись и опали желваки, будто он раскусил что-то твёрдое. Потом командир опустил глаза на гриву коня и так сидел.

— Вот, — сказал старик и надел шапку. — Вот так она. Мать твоя на *витĕнетĕп*«покрываюсь» голос вниз брала. Я слышал, когда тебя, дурака, от мора привезли.

— Я помню, что вниз, — сказал командир, не поднимая глаз. — Слов не помнил.

— Теперь помнишь. — Старик повернулся к Хасан-беку. — А ты, стало быть, тот, кто считает.

— Хасан-бек.

— Ярмул. — Старик посмотрел на его книгу под мышкой. — Сколько у тебя там имён?

— Пятьдесят четыре, — сказал Хасан-бек. — Со мной.

— У меня больше, — сказал Ярмул и пошёл к телегам здороваться с Кураком.

* * *

Вечером Ярмул сел у огня и стал спрашивать.

Он спрашивал у каждого, кто подходил за кашей, чей он и откуда. У обозных, у всадников, у Салиха, у кыпчаков. Русских он не спрашивал — только смотрел на них долго, как смотрят на поле, которое будут пахать в другой год. Спрашивал коротко, и ответ слушал, не перебивая, и потом кивал, и Хасан-бек видел, что каждый ответ старик кладёт себе куда-то, как кладут в сундук.

Хасан-бек сидел у соседнего огня и сверял со своим списком.

Всё сходилось. Ильдар из Биляра. Мансур из Болгара, с третьей улицы. Халим из-под Джукетау. Сходилось до тех пор, пока старик не дошёл до Хурçă.

— Ты из Шăхаль, — сказал Ярмул, не спрашивая.

— Из Шăхаль, — сказал Хурçă.

Хасан-бек посмотрел в список. В списке обозных, который дал ему сборщик подводной повинности, у Хурçă стояло село Хурăнвар.

Он подозвал Хурçă и спросил. Хурçă объяснил, что он из Шăхаль, а жена у него из Хурăнвар, и живёт он двадцать пять лет у жены, и сборщик записал его туда, где двор, а не туда, откуда он.

— Как правильно? — спросил Хасан-бек.

— И так правильно, и так, — сказал Хурçă. — Двор тут. А сам я оттуда.

Хасан-бек подумал и написал над строкой мелко: «родом из Шăхаль». Колдун у огня смотрел, как он пишет, и ничего не сказал. Он, кажется, и не ждал, что скажут.

Последним к огню подошёл командир. Ярмул посмотрел на него снизу и спросил то же, что у всех:

— Чей ты?

— Атнер. Марданов сын.

— Это отец. — Ярмул помешал в котле. — А дальше?

Атнер пожал плечом. Дальше отца он не знал. Отец дальше себя не рассказывал.

— Тогда я скажу, а ты запомни, — сказал Ярмул. — Мать твоя — Эрнепи, наша, из Хурăнвар, это ты знаешь. А отцов род — булгарский, старый. Твой отец мне сам говорил, в тот год, когда брал её. Дед его деда ходил в сотниках у хана, а того деда — у другого хана, и так до самого первого, который с востока пришёл. А первого звали Авитохол. Румы его звали по-своему — Аттила.

У соседнего огня засмеялись. Хасан-бек поднял голову от списка.

— У каждого булгарского сотника в прадедах хан, — сказал Атнер. — А у кого побогаче — два.

— У каждого врут, — сказал Ярмул спокойно. — У тебя — нет. Я не за тебя помню, я за твоего отца. — Он подул на ложку. — И наши, сувары, с теми гуннами ходили. Румы нас в своих книгах сабирами писали. До Рима гунны не дошли — Рим сам к ним вышел, с поклоном, и просил повернуть. Повернули.

— Зачем повернули? — спросил кто-то из молодых.

— Мор у них был, и есть нечего, — сказал Ярмул. — Люди устают даже побеждать. Ешь кашу.

Атнер постоял, потом сел и стал есть. Хасан-бек посмотрел на него и на старика и в список ничего писать не стал: такой строки у него не было. Но запомнил, потому что и в Болгаре старые роды любили говорить про ханов с востока, а он всегда думал, что говорят для важности. Старик говорил не для важности. Старик говорил, как говорят, сколько мер в амбаре.

* * *

Старый *киремет*«место моления» стоял у вала, в липняке. Ограды от него осталось два столба, и оба сгнили внизу.

Утром, когда запрягали, Ахтупай сказал, что отряд пойдёт к Мӑн Юман мимо этого липняка и что у киремета надо положить дар: мимо старого места проходить с пустыми руками нехорошо. Ярмул сказал, что мимо этого места лучше вовсе не ходить.

— Отчего? — спросил Ахтупай. — Дар положим — и пройдём.

— Оттого что там уже двести лет не кладут, а место помнит, что клали, — сказал Ярмул. — Это хуже, чем если б там никого не было.

— Ты, *юмӑҫ*«сказитель», духов боишься больше, чем тех, с востока.

— Те приходят и уходят. А это никуда не уходит. Оно тут стояло, когда твоего деда не было.

— Вот и положим дар. Заодно и поздороваемся.

Они спорили долго, стоя друг против друга, и Ахтупай опирался на палку, и Ярмул опирался на палку, и было видно, что спорят они не первый раз и не десятый, и что спор этот им обоим нужен, как нужна старикам утренняя похлёбка. Хасан-бек стоял рядом с кобылой и ждал, когда можно будет сказать про время.

Время он сказал. Он сказал, что до Мӑн Юман полтора дня, если выйти сейчас, и два, если выйти после спора. Ахтупай посмотрел на него, как смотрят на муху, которая вдруг заговорила.

— Бек, — сказал Ахтупай. — Скажи мне прямо тогда уж, раз ты такой скорый. Сколько людей даст Мӑн Юман?

— Это я у тебя хотел спросить, *мучи*«дед».

— Как свезут снопы — столько и даст.

— Это не число.

— Это точнее числа. — Ахтупай поправил шляпу. — Твоё число ты запишешь, а потом дождь пойдёт, и оно соврёт. А моё не соврёт. Свезут — дадут. Не свезут — не дадут.

— Я не могу такое послать наместнику.

— А ты пошли, — сказал Ахтупай. — Пусть он тоже подождёт дождя, как все.

Дар положили. Ахтупай положил у сгнившего столба лепёшку и горсть соли, постоял и что-то сказал, негромко. Ярмул стоял позади и держал шапку в руках, и когда Ахтупай замолчал, Ярмул сказал два слова, которые тот пропустил, и Ахтупай, не оборачиваясь, их повторил.

Вышли на час позже, чем вышли бы без спора. Хасан-бек записал это в дневной счёт не как задержку, а как «обряд у вала», потому что задержкой это не было: обряд у них шёл в дорогу, как водопой.

* * *

Дубрава Мӑн Юман начиналась не деревьями, а тишиной.

Сперва был лес как лес, липа и берёза, и птицы, и дорога с корнями поперёк. Потом деревья стали выше и реже, и птиц стало меньше, и под ногами пошла не трава, а старый лист, пружинистый и тёмный. Потом Ахтупай, который шёл впереди пешком, остановился у первого дуба и поднял руку.

Дуб был в три обхвата. За ним стоял второй такой же. За вторым — ещё. Между ними было светло и пусто, как в палате, где сняли ковры.

— Сними, — сказал Ахтупай командиру.

Командир посмотрел на него.

— Когда в дубраву входишь, сними, — сказал Ахтупай. — Дереву лицо показывают.

Командир снял личину со лба и повесил на луку седла. Потом, подумав, слез с коня и пошёл дальше пешком, ведя Кӑвака в поводу. За ним стали слезать всадники, сначала сувар из-под Сувара, потом Ильдар, потом все. Салих слез последним и посмотрел на Хасан-бека.

Хасан-бек слез тоже. В законе не было сказано, как входить в чужую рощу, но было сказано, как входить в чужой дом.

Сверху, с дубов, падали мелкие зелёные жёлуди. Дуб сбрасывает лишние в июле, это Хасан-бек знал от садовника в Болгаре. Жёлуди стучали по листу под ногами, по шляпе Ахтупая, по крупу кобылы, редко и мягко, как капли, когда дождь уже кончился, а с веток ещё идёт.

Слева, у края дубравы, лес был чёрный. Там стояли стволы без коры, обугленные понизу, и некоторые ещё стояли, а некоторые лежали, и между ними вырос молодой березняк в рост человека. Хасан-бек посчитал обгорелые стволы, сколько было видно с дороги. Сорок семь. Он не стал записывать. Потом подумал и записал.

* * *

Моление было назначено на полдень, и к полудню на поляне в середине дубравы собралось человек триста.

Хасан-бек не знал, куда встать.

Он понял это сразу, как вышел на поляну. Все стояли где-то. Мужчины стояли одной дугой, женщины — другой, за ними, старики впереди, дети сзади, и между дугами был проход, и в конце прохода, у самого большого дуба, горели два огня и висели два котла. Все были в белом. Отряд, выйдя из-за деревьев, сразу разошёлся: обозные нашли своих и встали к ним, русские отошли к краю и встали кучей, всадники встали у коней. Командир пошёл к старикам, и старики расступились и поставили его между собой. Колдун пошёл прямо к огню.

Хасан-бек остался стоять посреди поляны, с кобылой в поводу и с книгой под мышкой. На него смотрели.

К нему подошёл человек от котлов. Невысокий, в белом до пят, и белое на нём было чистое, хотя по краю поляны была грязь после ночного дождя. Руки он держал перед собой, чуть на отлёте, и руки у него были вымыты до локтей и ещё не высохли.

— Ты, бек, стань тут, — сказал он, показав на дуб у края, в стороне от обеих дуг. — Тут чужие стоят. Коня отдай мальчишке.

Он не спросил, чей Хасан-бек, и не спросил, зачем он пришёл. Он сказал, где стоять, как говорят в палате писцу, куда сесть, и пошёл обратно к котлам.

— Кто это? — спросил Хасан-бек у Юсуфа, отдавая повод.

Юсуф не знал. Знал Курак, который оказался рядом, как оказывался везде.

— Ишлей, — сказал Курак. — *Чӳкҫӗ*«жрец моления». Он тут главный. Не Ахтупай. Ахтупай — старший. А тут главный он.

Хасан-бек встал у дуба. Отсюда было видно всё.

Он смотрел и видел порядок. Он не ожидал этого и потому видел особенно ясно. Ишлей не говорил ни одного слова о небе, о духах, о земле. Он говорил: сюда. Ты — туда. Воду — сюда. Котёл повесить ниже. Ты стоишь не там, ты стоишь за отцом. И люди шли, куда сказано, и становились, куда сказано. Колдун стоял рядом с Ишлеем, у огня, и, когда Ишлей оборачивался к нему, колдун тихо называл ему что-то — имя рода, понял Хасан-бек, — и Ишлей называл это вслух, и от дуги отделялся человек и подходил к огню с миской.

Так в палате наместника выкликают к докладу. По старшинству, по порядку записи.

Что делали с жертвой, Хасан-бек не видел: это делали за котлами, и между ним и котлами стояли люди, и он не старался увидеть. Он видел, как подносят мясо к котлу. Видел, как Ишлей поднял руки. Стало тихо так, что было слышно, как падает жёлудь.

Потом Ахтупай, стоя рядом с Ишлеем, сказал моление. Сказал длинно, нараспев, и один раз запнулся, и колдун у него за спиной подсказал слово, и Ахтупай, не оборачиваясь, взял слово и пошёл дальше, как берут из рук ковш. Хасан-бек разобрал не всё. Разобрал про хлеб, про скот, про дождь в пору дождя. Разобрал конец, потому что конец говорили все, вслед за Ишлеем:

— *Ырă чӳк-кĕлĕ хапăл ил, тытнă-тунине çырлах*«Прими доброе моление, будь милостив к начатому и сделанному».

Потом Ишлей зачерпнул первую ложку каши и бросил в огонь. Вторую плеснул на землю. И только тогда к котлу пошли старики.

Хасан-бек стоял у дуба и понимал, что стоит здесь неправильно. Он был при молении чужой веры. По закону ему здесь быть не полагалось, и в донесении это будет выглядеть так, как будто посланник наместника стоял при языческой жертве. Он представил себе строку. Строка выходила плохая.

К нему подошла девочка с миской. В миске была каша, и в каше куски мяса.

Хасан-бек посмотрел на мясо.

— Кто резал? — спросил он.

Девочка не поняла. Подошёл Ишлей, с мокрыми руками, и посмотрел на миску, и на Хасан-бека, и понял раньше, чем Хасан-бек успел объяснить.

— Мясо не бери, бек, — сказал Ишлей. — Оно не по твоему закону. — Он взял у девочки из корзины лепёшку и протянул. — Хлеб бери. Хлеб ничей.

Хасан-бек взял хлеб. Он отломил и съел, стоя у дуба, и хлеб был пресный и ещё тёплый. Ишлей ушёл к котлам.

В донесении Хасан-бек потом написал: «Сбор родов у Мăн Юман. Присутствовал для счёта людей». Это было правдой.

* * *

Повитуха сидела на пне в стороне от котлов и лущила горох в подол.

Хасан-бек подошёл к ней, потому что ему сказали: если хочешь знать, сколько людей в сёлах, спроси не старосту, а Чепчен. Старуха была маленькая, круглая, в тёмном, и пальцы у неё двигались быстрее, чем у менялы Джафар-аги, когда тот считал обрезки.

Рядом с ней стоял командир. Он подошёл раньше, и Хасан-бек не слышал начала.

Чепчен, не переставая лущить, протянула руку, взяла командира за запястье, повернула его ладонь вверх и посмотрела. Смотрела недолго. Потом отпустила.

— Долгая, — сказала она. — Не в бою.

Командир убрал руку и потёр ладонь о штаны, как потирают, когда в неё что-то положили.

Хасан-бек открыл книгу.

— Сколько людей в сёлах вокруг дубравы? — спросил он.

— В девяти? — Чепчен выщелкнула горошины в подол. — Тысяча девятьсот двенадцать. Это живых. Я их, почитай, всех вынимала, кроме стариков. Четыреста семьдесят одного вынула. Остальных — мать моя.

Хасан-бек записал. Число было точнее любого, какое он получал от старост.

— Пешком, если далеко идти, — сказала Чепчен, — дойдут тысяча четыреста. Остальных нести. Или оставлять.

Хасан-бек поднял голову.

— Я не спрашивал, сколько дойдёт.

— Ты не спрашивал, — согласилась Чепчен. — Я сказала.

Он записал и это. Записал под первым числом, отдельной строкой, без пояснения, и не знал, в какой столбец это пойдёт. Командир стоял рядом и смотрел на запись. Хасан-бек видел, что командир читает её, шевеля губами.

* * *

К вечеру у огня мастерица клала руну.

Рубаху для командира сшила Ильгам. Она сшила её за неделю из казённого холста, в обозе, на ходу, сидя на телеге, и Курак, когда увидел, что тюк начат, посмотрел на Хасан-бека так, как смотрят люди, которые сказали заранее. Хасан-бек отметил в книге: «холст — один тюк, начат, на рубахи отряда». Одиннадцать.

Теперь рубаха лежала на коленях у здешней мастерицы, молодой, худой, с тонкой шеей. Её звали Илемпи. Она говорила так тихо, что Хасан-бек, сидя в трёх шагах, не слышал ни слова, а видел только, как двигаются губы. Командир сидел против неё на корточках. Илемпи вдела красную нитку, прошла два стежка по вороту и остановилась. Подняла глаза на командира.

Сказала что-то. Командир наклонился ближе.

— По обряду копали? — повторила Илемпи, чуть громче, и теперь Хасан-бек услышал.

Командир ответил не сразу.

— Взаймы, — сказал он.

Илемпи посмотрела на него долго. Потом опустила глаза к вороту и пошла дальше, стежок за стежком, и красное ложилось на белое ровно, частым мелким узором, который Хасан-бек не мог прочесть и не пытался.

Колдун сидел неподалёку и тоже смотрел.

— Слово ему сегодня вернули, — сказал колдун Хасан-беку, как будто продолжал разговор. — Теперь нитку кладут. По порядку. Ты у себя в книге тоже ведь сперва год пишешь, потом месяц, потом что.

— Сперва *бисмиллях*«во имя Аллаха», — сказал Хасан-бек. — Потом год.

— Ну вот, — сказал Ярмул. — И у нас сперва.

* * *

Разъезд вышел к дубраве на другой день, к полудню, с восточной опушки.

Хасан-бек этого не видел. Он был при обозе, в середине, и первым, что он услышал, был свист, короткий, который он принял за птицу. Потом Салих закричал по-булгарски одно слово. Потом всадники ушли, все сразу, и у обоза остались обозные, русские и Юсуф, который стоял у кобылы бека с обнажённой саблей и держал её так, как держат, когда саблю дали первый раз.

Потом было тихо. Долго.

Потом всадники вернулись. Не все сразу, а по двое, по трое. Ильдар вёл в поводу чужого коня — маленького, лохматого, с короткими ногами и с большой головой. Седло на чужом коне было стёртое до дерева на луке, и к задней луке ремешком была привязана войлочная фигурка величиной с ладонь, тёмная и блестящая от жира.

Хасан-бек посмотрел на фигурку и отвёл глаза. Он не знал, что это, и понял, что знать не хочет, потому что это было чьё-то.

Командир приехал последним. Личина у него была опущена. Он поднял её у обоза и сказал Хасан-беку:

— Пятеро было. Двое там остались. Двое ушли в лес пешими, их ищет эрзя. Один ушёл на восток.

— Догнать?

— Нет.

Хасан-бек открыл книгу.

— Своих?

— Все.

Хасан-бек записал. Пятеро. Двое убиты. Двое в лесу. Один ушёл. Свои все. Конь чужой, один.

Вечером он сел писать донесение наместнику, второе с Болгара. Он написал про Тикаш хули и про вал в две сажени вместо трёх. Написал про Мăн Юман, про сбор родов, про тысячу девятьсот двенадцать. Потом дошёл до разъезда и остановился.

Он написал: «У восточной опушки Мăн Юман отряд встретил разъезд с востока в пять человек. Двое убиты, двое скрылись в лесу, один ушёл».

Перечитал.

Наместник читал донесения до первой точки. Потом отдавал писцу. Хасан-бек знал это двенадцать лет. Всё, что стояло после первой точки, читал Ильяс.

Он соскоблил строку ножом, осторожно, чтобы не протереть бумагу, и написал заново: «Один из разъезда с востока ушёл от Мăн Юман на восток. Разъезд был в пять человек; двое убиты, двое скрылись в лесу. Отряд цел».

Те же слова. Другой порядок.

Командир стоял у него за спиной и читал, шевеля губами. Хасан-бек это слышал.

— Дойдёт? — спросил Хасан-бек, не оборачиваясь. — Тот, один.

— Дойдёт, — сказал командир.

* * *

Молился Хасан-бек в ту ночь один, как всегда, отойдя от огня на двадцать шагов, к краю поляны, к дубу, у которого днём стоял как чужой. Он расстелил коврик и долго поворачивался: ночью, без солнца, *кыблу* «сторону Мекки» приходилось брать по звёздам, а звёзды сквозь дубы были видны плохо. Он взял по той, что держится на полночи, и повернулся от неё на юг, и ещё на ладонь к закату.

Когда он кончил и сел на пятки, рядом стоял Гордята.

Русский стоял в пяти шагах и крестился. Крестился он медленно, широко, кланяясь в пояс, и кланялся он в другую сторону — туда, где за дубравой должно было встать солнце.

Хасан-бек подождал, пока он кончит. Гордята кончил, выпрямился и посмотрел на коврик, потом на свой восток, потом опять на коврик. Прикинул.

— Выходит, мы спинами, — сказал Гордята.

— Выходит, — сказал Хасан-бек и не стал поворачиваться.

Глава 9. Слово после каши



учук

Атнер. Поле у Мăн Юман, 9 июля 1223 года

Котлы повесили затемно.

Их было семь. Мужики вбили рогатины в два ряда вдоль ручья, положили на рогатины перекладины и подвесили котлы на цепях, и каждый котёл был из другой деревни, и все разные: медный, большой, с заплатой на боку; два чёрных, чугунных, из Мăн Юман; один маленький, с отбитым ухом, который привязали к цепи ремнём. Под котлами вырыли ямки и положили хворост, но не зажигали: огонь без Ишлея не зажигали.

Атнер не спал. Он лёг у телеги, когда ушли последние, кто вешал котлы, и лежал, и смотрел, как из темноты по одной выходят телеги. Телеги шли с трёх сторон: от дубравы, с дороги на Таяпу и с того берега ручья, по броду. Их было слышно раньше, чем видно, — скрип, фырканье, чей-то голос, который говорил коню «тпру» и тут же, другим голосом, кому-то в темноте «здравствуй». Люди узнавали друг друга по телегам раньше, чем по лицам.

Когда рассвело, телег было девяносто три. Атнер сосчитал их дважды.

Распрягали на краю поля и ставили кругом, оглоблями внутрь, и лошадей уводили к воде. Из телег доставали дрова, соль, мешки с крупой и чашки. Чашки каждый привёз свои, и ложки свои: котлы общие, а посуда домашняя.

Все были в белом.

* * *

Солнце поднялось над лесом, и поле стало видно целиком.

Людей было около тысячи. Атнер не мог их сосчитать — они всё время двигались, сходились и расходились, — и он перестал пробовать. Белые рубахи, белые *сурпаны*«женские покрывала», у девок на головах *тухья*«девичьи шапочки», и на тухьях серебро: обрезки, дирхемы

дедов, бляшки, и серебро звякало, когда девки поворачивались. Мальчишки бегали между котлов, и их гоняли. Старики сели на межу, в ряд, и смотрели.

На краю поля, там, где трава кончалась и начиналась степь, стояли конные. Не в белом.

Атнер поставил их ещё ночью: Мансура, Ильдара, обоих кыпчаков и сувара из-под Сувара, по двое, на полверсты друг от друга, лицом к степи. Салих встал сам, посередине, на бугре. Он сидел в седле спиной к полю, и Атнер видел отсюда его спину и больше ничего.

Хасан-бек стоял у телеги отряда с книгой. Он сосчитал телеги раньше Атнера и сказал: девяносто три. Потом посмотрел на поле и спросил:

— А людей сколько?

— Около тысячи.

— Около — это не число, — сказал Хасан-бек и пошёл считать сам.

Вернулся он через час. Он насчитал тысячу сто сорок, не считая детей, которые бегали, и сказал, что детей сосчитать нельзя, потому что они бегают, а если их поймать, то это уже будет не счёт, а драка.

* * *

Атнер хотел говорить сразу.

Он решил это ещё ночью. Люди съехались с девяти сёл и из-за реки. К вечеру они разъедутся. Сказать надо, пока все стоят вместе и пока никто не ушёл к своей телеге. Он пошёл через поле к котлам, туда, где старики у межи смотрели на Ишлея, и уже набрал воздуха.

Ахтупай взял его за рукав.

Взял просто, двумя пальцами, как берут за рукав мальчишку, который бежит не туда. Атнер остановился.

— После, — сказал Ахтупай.

— Разъедутся.

— Не разъедутся. — Старик не отпускал рукав. — Они сюда не к тебе приехали, батюшка. Они к котлу приехали. Скажешь до котла — тебя послушают, а котёл остынет. Скажешь после — тебя послушают сытые.

Атнер посмотрел на поле. Никто на него не смотрел. Все смотрели на Ишлея.

— Когда? — спросил он.

— Ишлей скажет. — Ахтупай отпустил рукав. — Ты пока иди. Скотину свою приведи.

* * *

Скотину купил Хасан-бек позавчера, у пастухов Мăн Юман, на мясо отряду: десять овец, по восемь серебром голова. Он записал их в столбец «кони», потому что столбца «овцы» у него не было, и приписал сбоку «не кони». Овцы стояли у телеги отряда на верёвке и жевали.

Атнер отвязал верёвку.

— Это мясо на двадцать дней, — сказал Хасан-бек.

— Знаю.

— Восемьдесят серебром.

— Знаю.

— Ты их ведёшь в котёл.

— В котёл.

Хасан-бек открыл книгу, подумал и закрыл.

— Это я запишу потом, — сказал он. — Сейчас я не знаю куда.

Атнер повёл овец через поле. Овцы шли плохо, упирались, и одна всё время пыталась лечь, и Уйăп пришёл помочь и шёл сзади, подталкивая ту, что ложилась, коленом. Люди рас-

ступались. Атнер слышал, как за его спиной говорят: чьи? — отряда. — Какого отряда? — Того, золотого. — Десять? — Десять. И когда он довёл овец до котлов и отдал верёвку подпаску, который принял её без слова, по полю уже шло это «десять», из рядов в ряды, как идёт по воде круг от камня.

Ближе к полудню, пока Ишлей ещё не назначил часа, с того берега ручья пришли ещё телеги. Двенадцать телег, пыльных, с дальней дороги. Ярмул, стоявший у огня, увидел их и сказал Ахтупаю что-то, и Ахтупай сощурился на телеги и засмеялся.

— Ишь, — сказал он Атнеру. — Из-за Кинера. Эти на *учук*«полевое моление» три года не ездили. Далеко, говорят. А про десять овец, выходит, вчера узнали. Не далеко.

* * *

Ишлей назначил час, когда тень от самого высокого дуба на опушке дошла до первого котла.

Он ничего не сказал. Он просто подошёл к первому котлу и поднял руку, и поле, которое шумело всё утро, стало затихать — сначала у котлов, потом дальше, потом у телег, — и последними замолчали мальчишки, которых матери дёргали за рубахи.

Скот повели к воде. Атнер не смотрел туда, и никто не смотрел: смотрели на Ишлея. Какой-то мальчишка лет семи вывернулся из рук у матери и повернулся к воде, и старик, сидевший на меже, не вставая, взял его за плечи и развернул обратно, лицом к котлам, и мальчишка так и остался стоять, с открытым ртом.

Под котлами зажгли огонь.

Потом был долгий час, когда всё поле пахло одним: дымом, мясным наваром, мокрой травой у ручья. У каждого котла стояла своя баба с черпаком, и у каждой бабы была своя манера мешать, и между котлами уже спорили, у кого гуще.

Ярмул ходил от котла к котлу и называл роды.

Он называл их по порядку, тихо, и Ишлей, шедший рядом, повторял громко, и от белой толпы отделялся старик, или двое, и подходил к своему котлу. Порядок был не по сёлам и не по богатству. Атнер не понимал этого порядка и видел, что все его понимают, кроме него, Хасанбека, русских и всадников на краю поля.

Потом Ишлей встал лицом к воде, и поле встало лицом к воде, и все сняли шапки. Стало так тихо, что было слышно котлы и жаворонка над степью.

Ишлей говорил моление. Говорил ровно, не нараспев, как говорят старшему то, что старший и так знает, но что положено сказать. Ярмул стоял у него за плечом и молчал: сегодня Ишлей не сбивался.

— *Эсĕ хирти тырă-пулла сыхласа сир, çумăр вăхăтĕнче çумăр пар, сывлăм вăхăтĕнче сывлăм пар, çырлах*«Убереги хлеб в поле, в пору дождя дай дождя, в пору росы — росы, помилуй».

Атнер стоял среди стариков и шевелил губами вместе со всеми. Эти слова он помнил. Их говорили каждый год, и он говорил их в Хурăнвар шесть лет подряд, и они не ушли.

Ишлей зачерпнул первую ложку из первого котла и бросил в огонь. Из второго плеснул на землю. Потом отступил, и черпальщицы подняли черпаки.

* * *

Первыми ели старики.

Их обносили, а молодые стояли и ждали, и дети стояли и ждали, и никто не садился, пока последний старик на меже не взял чашку. Потом сели все, где стояли, кругами, по родам и по сёлам, и черпальщицы пошли по кругам.

Атнер в это время был на краю поля. Салих махнул ему с бугра, и он поехал туда, и оказалось — ничего: на горизонте поднялась пыль и легла, и Салих хотел, чтобы Атнер тоже посмотрел, как она ляжет. Они посмотрели вдвоём. Пыль легла. Это было стадо.

Атнер вернулся к котлам в личине. Он опустил её на бугре, чтобы смотреть в степь против солнца, и забыл поднять.

У ближнего котла стояла очередь из отряда: обозные, русские, Юсуф с двумя мисками. Атнер встал в очередь. Перед ним стоял Гордята, и Гордята обернулся, посмотрел на личину и ничего не сказал.

Черпальщица была пожилая, с красными руками, с черпаком длиной в руку. Когда Атнер протянул чашку, она опустила черпак обратно в котёл и не зачерпнула.

— Сними, батюшка, — сказала она. — Я в железо лить не буду.

— Отчего?

— Оттого что не видно, сыт ты или нет.

Она ждала. Очередь за Атнером ждала тоже, и кто-то в очереди засмеялся — Хурçă, узнал Атнер по голосу, — и перестал.

Атнер поднял личину на лоб.

Черпальщица посмотрела ему в лицо, как смотрят на тесто, поднялось или нет, и налила. Налила полную, с мясом.

— Вот, — сказала она. — Теперь видно.

* * *

Ковш пошёл по кругу, когда каша кончилась в третьем котле. Ковш был большой, липовый, с ручкой в виде утки, и в нём было пиво, и его несли от старика к старику, и каждый, прежде чем выпить, плескал на землю. Атнер сидел со стариками и ждал, когда дойдёт до него. Руки у него были холодные. Он заметил это и сунул их под колени.

Ковш до него дошёл. Он плеснул и выпил.

Тогда Ишлей встал.

Он сказал, что моление принято и что каша съедена. Сказал, что старший скажет дальше. И сел.

Встал Ахтупай. Он постоял, опираясь на палку, и посмотрел на поле, по всем кругам, и поле, которое уже снова гудело, стало стихать — не сразу, а кругами, как стихало утром.

— Тут человек пришёл, — сказал Ахтупай. — Вы его видели. Золотой. Десять овец в котёл привёл. — Он помолчал. — Он Ятмана из Хурăнвар племянник. Эрнепи сын. Ему сказать надо. Я ему слово даю.

И сел.

Атнер встал.

Он встал и увидел поле. Тысяча сто сорок человек сидели кругами на траве с чашками в руках и смотрели на него, и многие ещё жевали. Ближе всех сидели старики с межи. Дальше — мужики. Дальше, у телег, — бабы, и девки со звенящими тухьями, и дети. И было тихо так, что он слышал, как у кого-то в ближнем круге ложка стукнула о чашку.

Перед строем было легче. Строй молчит, потому что велено.

— Тридцать один человек, — сказал Атнер. — На одной верёвке. Девять верховых на тридцать одного. Шесть повозок. Их гнали две недели от Калки-реки. Это на Дону. Сколько таких верёвок…

Он остановился.

Он видел лица. Лица были вежливые. Лица слушали так, как слушают сборщика, когда он читает грамоту: ровно, не шевелясь, и за этой ровностью ничего нельзя было разглядеть, потому что за ней стояла стена. Старик в ближнем круге опустил глаза в свою чашку.

Атнер закрыл рот. Постоял.

Хасан-бек стоял у телеги отряда и держал книгу. Ярмул сидел у огня и смотрел в огонь. Ахтупай смотрел на Атнера снизу, и лицо у Ахтупая было такое, как у человека, который смотрит, как сосед чинит плетень не с того конца, и не говорит, и ждёт.

— Они придут, — сказал Атнер.

Он сказал это иначе. Он сам услышал, что иначе: голос сел вниз, туда, где говорят дома.

— Когда — не знаю. Может, как свезут снопы. Может, раньше. Сейчас их нет. Сейчас они на Дону и за Волгой, далеко. А придут.

Старик в ближнем круге поднял глаза от чашки.

— Людей прошу, — сказал Атнер. — Не сейчас. Сейчас у вас покос, я не дурак. После покоса. Кто может ходить и кто умеет с луком. Кормить буду я. Кто пойдёт — тех к жатве отпущу. Жать будете сами, своё.

Он помолчал. Он не знал, что сказать дальше, и сказал то, что было:

— Кого не отпущу — того назову. Каждого. Чей он и откуда. Ярмул помнит.

У огня Ярмул поднял голову.

— Больше мне сказать нечего, — сказал Атнер. — Каша у вас хорошая.

И сел.

Некоторое время не было ничего. Потом в дальнем круге, у телег, кто-то засмеялся — баба, коротко, — и на неё зашикали, и она сказала громко, на всё поле: «А что, хорошая ведь каша!», и тогда засмеялись в другом круге, и в третьем, и старики на меже, и смех пошёл по полю так же, как утром шло «десять».

Старик из ближнего круга встал. Худой, в латаной рубахе, с одним ухом, другое было отрублено давно.

— Сколько людей надо? — спросил он.

— Сколько дадите, — сказал Атнер.

— Ну, это мы умеем, — сказал старик. — Давать, сколько дадим. — И подмигнул Хасан-беку, который стоял у телеги с книгой, так, что смех пошёл по полю второй раз.

Хасан-бек открыл книгу. Потом, помедлив, поклонился старику — не как бек, а как купец купцу, когда торг кончился вничью.

* * *

До вечера к телеге отряда подходили старики.

Подходили по одному, по двое, и садились на оглоблю, и говорили Ярмулу, а Ярмул повторял Хасан-беку, а Хасан-бек писал. Шăхаль — как покос кончат, двенадцать. Мăн Юман — сорок, «как свезут сено». Выселок за Кинером — семь, «лучники, всё зверовщики». Таяпа — «спросим у Албара, а своих пять дадим и без Албара». Хасан-бек писал и не спорил ни с одним «как свезут», и Атнер видел, что рядом с каждым числом он мелко пишет что-то ещё, и заглянул. Рядом с числами бек писал работы: «после сена», «после сена», «после жатвы», «после сена».

— Это что? — спросил Атнер.

— Срок, — сказал Хасан-бек, не поднимая головы. — Другого у них нет. Буду считать этим.

Потом бек сказал, тоже не поднимая головы:

— Наместнику напишу: сбор ополчения у Мăн Юман, тысяча сто сорок душ, обещано людей столько-то. Про кашу писать не буду. Каша не статья.

— А овцы?

Хасан-бек перевернул лист назад, к столбцу «кони, не кони», посмотрел на десять овец, вздохнул и провёл под ними черту.

— Овцы — угощение послов, — сказал он. — Есть такая статья. Мы тут, выходит, послы.

* * *

К вечеру поле разбилось на кучки.

Мужики сидели по родам и говорили о своём: у кого сын женился, у кого лошадь пала, почём в Ага-Базаре кожа. Бабы собрались у котлов и мыли, и там был свой разговор, длиннее. Молодые встали в круг.

Круг встал на вытоптанном месте у ручья. Парни с одной стороны, девки с другой, и кто-то из-за Кинера привёз *шăпăр*«волынку», и первая песня получилась кривой, потому что все вступили вразнобой, а вторая уже пошла, и круг двинулся. Тухьи звенели. Старухи сели на межу, туда, где днём сидели старики, и стали смотреть, кто с кем стоит.

Атнер стоял у телеги и смотрел тоже.

В кругу шёл парень, высокий, красный от солнца, по имени Алмас, — его Атнер запомнил днём, потому что тот носил дрова к котлам за двоих. Через двух человек от него шла девка, тонкая, с серебром на тухье в два ряда. Круг шёл, и каждый раз, когда он поворачивался, парень и девка оказывались друг против друга. И каждый раз оба смотрели в сторону: он — на ручей, она — на котлы.

— Ну, — сказала громко одна старуха на меже другой. — Эти к столбам поженятся.

— К столбам, — сказала другая. — Кĕмĕлпи-то? Её отец отдаст?

— Отдаст. Он за два двора жнёт.

Девка услышала, это было видно, и сбилась с шага, и выправилась. Парень не услышал. Он смотрел на ручей.

* * *

Песню начал Уйăп.

Солнце уже ушло за дубраву, и котлы остыли, и на поле зажгли костры. Отряд сидел у своего огня, у телеги: обозные, русские, Ахтупай, Ярмул, Ильгам, Илемпи, Виряс. Всадники ещё не вернулись с края поля.

Уйăп сидел, подобрав ноги, и молчал весь вечер, и вдруг запел — высоким, недовольным своим голосом, тем самым, которым ругался, когда путался в рукаве:

— *Алран кайми аки-сухи*«Плуг и соха, что не выпадают из рук»…

Он вытянул это одно, и голос у него сорвался на конце, и он замолчал, будто сам удивился.

Курак подхватил. Хурçă подхватил. Двое безымянных обозных, которых в отряде звали просто по сёлам, подхватили тоже, и Ахтупай, и Ярмул, и от соседнего костра, где сидели мăнъюманские, подхватили, и от следующего:

— *Асран кайми атти-анни*«Отец и мать, что не уходят из памяти»…

Атнер знал эту песню. Он пел её в Хурăнвар мальчишкой, на покосе, когда Ятман сажал его на копну. Он не пел её двадцать лет. Он открыл рот, не думая, и слова пошли. Все. Одно за другим, с того места, где их взяли остальные, и ни одно не потерялось, и он не останавливался ждать, придёт ли следующее. Следующее приходило само.

— *Турăран-Пӳлĕхрен ай асли çук, атте-аннинчен ай пахи çук*«Нет старше Бога-Творца, нет дороже отца-матери»…

Встали. Сначала встали старики у соседнего костра, потом Ахтупай, опираясь на палку, потом Курак, и тогда встали все, и Атнер встал вместе со всеми. Эту песню пели стоя. Пели все костры на поле, и где-то на краю кто-то отставал на полстроки, а где-то забегал, и песня шла от костра к костру волнами и возвращалась.

Виряс пел, не зная слов, — открывал рот и тянул голос на ту же ноту. Ильгам пела, стоя у телеги, тихо, и Атнер вспомнил, что она из-под Сувара, и там поют то же самое. Илемпи пела шёпотом, и шёпот было не слышно, а было видно. Хасан-бек стоял у телеги с закрытой книгой под мышкой и молчал, и лицо у него было такое, как у человека, который стоит под навесом, пока идёт дождь, и ждёт, и никуда не торопится.

Русские не пели. Нежата стоял, Любава стояла с обрезком ремня в руке. Гордята стоял и слушал, наклонив голову влево. Слов он не понимал. Он стоял так, как стоял в церкви, когда поют то, чего не понимаешь, но стоять надо.

— *Виличчен пёрле ай пурнар-и*«До смерти вместе будем жить»…

Песня кончилась. Кончилась не сразу, а так же, как шла, — волнами: у одного костра уже молчали, у другого ещё допевали. Потом замолчали все. Кто-то сел. Кто-то засмеялся — и на него не шикнули.

Атнер сел. Руки у него были тёплые.

* * *

Разъезжались долго. Прощались час, у телег, и договаривались, кто к кому приедет на осеннее пиво, и отдавали друг другу чашки, перепутанные за день, и искали свои. Искали мальчишку из Шăхаль. Мальчишку нашли под чужой телегой, спящим. Девка отдала парню платок — не Кёмёлпи, другая, — и старухи на меже увидели это раньше, чем парень.

Телеги уходили в темноту с трёх сторон, и скрип был слышен ещё долго после того, как огни у телег пропали.

На поле остались угли семи костров, вытоптанный круг у ручья и запах. Ишлей ходил по полю с ведром и заливал то, что не погасло.

Атнер взял две чашки каши из последнего котла, где ещё оставалось, накрыл их лопухом и поехал на край поля.

Салих сидел на бугре. Он так и не сошёл с коня за весь день и сейчас только отпустил подпругу и сидел боком, свесив ногу. Он взял чашку и стал есть, не глядя в неё. Смотрел в степь.

— Ели там? — спросил Салих.

— Ели.

— Слышно было, как пели, — сказал Салих. — Досюда.

Степь была тёмная и пустая до самого края. Над краем стояла первая звезда. Где-то вдали, в полуверсте, фыркнул конь Мансура, и Мансур что-то сказал коню.

— Много обещали? — спросил Салих.

Атнер посчитал. Губы шевелились сами.

— Как свезут сено, — сказал он.

Салих доел, облизал ложку и отдал ему чашку.

— Это не число, — сказал Салих.

— Не число, — согласился Атнер и остался сидеть рядом, лицом к степи.

Интерлюдия I. А они злые были?

Нина Васильевна. Октябрь, наши дни

Вот так они и пели. Стоя. Бабушка тоже, когда до этого места доходила, вставала — перо с колен стряхнёт и встанет, и поёт, а мы на печи лежим и смеёмся, потому что она одна стоит посреди избы в пуху, как курица. А она нам: цыц. Эту стоя поют.

Я вставать не буду, у меня колено.

— А монголы злые были? — спрашивает Коля.

Он пирог третий доедает и спрашивает с полным ртом, и я сначала не понимаю, потом понимаю.

— Бабушка говорила — уставшие.

— Как это — уставшие?

— А так. Четвёртый год из дома. Ты вон в лагерь на три недели ездил — помнишь, что по телефону говорил на второй неделе?

Коля краснеет. Он говорил: заберите меня. Он плакал. Лиза тогда сказала ему, что он маленький, и он с ней месяц не разговаривал.

— Это другое, — говорит Коля.

— Другое. Только они не на три недели уехали. Бабушка так и говорила: у тех, с востока, дома дети выросли, а они их не видели. Так и говорила — «с востока». Она их монголами не звала никогда. Она их звала «они». Или «те». Как про погоду говорят: «они опять пришли».

* * *

— В учебнике не так, — говорит Лиза.

Она учебник так и не убрала. Он у неё на коленях под столом, и она его не читает, а держит, как держат сумку в автобусе.

— А как в учебнике?

Она открывает, листает. Я жду. У меня в духовке последний противень, я на него смотрю через стекло.

— «Нашествие сопровождалось массовым разорением городов, истреблением и угоном в плен населения». Вот.

— Ну, так и было, — говорю я.

— А ты говоришь — уставшие.

— А я разве сказала — добрые?

Лиза молчит. Коля смотрит на неё, потом на меня, и ему нравится, что Лиза молчит.

— Уставший человек, Лиза, он не добрее. Он хуже бывает. Он лишнего не делает. Вот дед ваш, когда с фермы приходил после двух смен, — он разве добрый был? Он был — не подходи. Скажешь ему не то — он и не кричит, а просто встанет и уйдёт, и дверью не хлопнет, и это хуже, чем если бы хлопнул. — Я вытираю руки. — Бабушка говорила: они приходили и всё делали, как надо. Не орали. Своё дело делали. И от этого страшнее, чем если бы орали.

— Всё равно злые, — говорит Коля.

— Может, и злые. Я там не была. Я вам как бабушка говорю.

Кукушка на стене показывает четверть пятого. Она не кукует, но я на неё всё равно смотрю, когда не знаю, что сказать.

* * *

— А как их там звали? — спрашивает Коля. — Ну, этих. Хоть одного.

— Никого не знаю.

— Как — никого? Там же Атнер, Салих, бек этот. А у них?

Я думаю. Честно думаю, потому что он правильно спрашивает.

— У наших имена остались, потому что наши их и рассказывали. Бабушке — её бабушка, той — ещё кто-то. А про тех кто расскажет? Они ушли к себе. Если у них там тоже какая-нибудь бабушка про это рассказывает, так она про своих рассказывает, а не про нас. А что они думали — этого никто не знает. Ни бабушка, ни я, ни в учебнике.

Коля кивает. Потом говорит:

— Жалко.

— Жалко, — говорю.

И тут я вспоминаю тётю Марью, и мне смешно, и я не могу удержаться.

— Вот тётя Марья знала.

— Откуда?

— А она всё знала. — Я сажусь. — Тётя Марья про одного из них рассказывала так, будто сама с ним ехала. Верхом, рядышком, стремя в стремя. Старший у них был какой-то, десятник, что ли. Бабушка её спрашивала: Маша, ты откуда это взяла? А та: знаю, и всё. Он, говорит, у них всё своих считал. Каждый вечер. Сядет у огня и считает: столько-то нас. Потом одного нет — и опять считает, уже на одного меньше. И говорит: ладно. Вот это «ладно» тётя Марья всегда говорила его голосом, низко так, как мужик. «Ладно».

— А как его звали?

— Никак. Тётя Марья говорила — старший, и всё. По-ихнему — старший. Она и сама не знала, как звали, а придумывать не стала. Это она не стала, а бабушка говорила, что всё остальное она придумала.

— А кто прав?

— А никто не знает. Бабушка тогда с ней опять поругалась. Говорит: ты, Маша, врага жалеешь. А тётя Марья говорит: я не жалею, я рассказываю. И бабушка ей не нашлась что ответить. Я помню, потому что бабушке редко было нечего ответить.

Лиза закрывает учебник. Не убирает, а закрывает.

— Нормально, — говорит она. — Про того, кто считает.

От Лизы это много.

* * *

Подождите, у меня противень.

Последние пироги сверху подгорели, а снизу опять бледные. Я их переворачиваю на полотенце, накрываю другим, и пусть отойдут. Кто горячий режет, у того жизнь комом, — это не я говорю, это бабушка.

Пока отходят, я полезу в шкаф.

— Ты чего? — спрашивает Коля.

— Сейчас.

У меня в нижнем ящике, под скатертями, лежит полотенце. Я его достаю редко, раз в год, вот в эти дни. Оно старое. Холст серый, толстый, и узор по концам красный, выцветший, в двух местах поштопанный. Это бабушкино. А ей — от её матери. А той — не знаю.

Я разворачиваю его на столе, рядом с тарелкой для тех, кого поминаем. Лиза отодвигает учебник, чтобы не заляпать.

— Вот, — говорю. — Они в таком ходили. Не в полотенцах, конечно, в рубахах. Но шили так же. Белое, а по краю красное. Бабушка говорила: красное — это чтоб не тронули. Кто на тебя посмотрит, увидит, что ты чей-то.

Коля трогает узор пальцем. Потом другим пальцем, чистым.

— А это что?

Он показывает на ветку. Узор идёт ровно, ромбы, крестики, опять ромбы — и на одном конце, посередине, вдруг ветка. Не такая, как всё. Кривенькая, с тремя листиками, и листики не в ту сторону.

— Не знаю, — говорю.

— Как не знаешь? Это же твоё.

— Моё. А не знаю. Я бабушку спрашивала, она тоже не знала. Говорила: так всегда шили, на одном конце ветка. Её мать так шила, и её бабка. А зачем — никто не помнит. Узор помнят, а зачем — не помнят.

Лиза смотрит на ветку долго.

— Может, это ошибка была. Кто-то один раз ошибся, а потом все повторяли.

— Может, — говорю. — Может, и ошибка. А может, и нет.

Я сворачиваю полотенце обратно, тем же сгибом, как лежало. На сгибах холст уже светлее, протёрся.

* * *

— А вы в войну играли? — спрашивает Коля. — В детстве?

— Играли. Все играли. Мы у валов играли, у Таяпы, когда туда ходили за земляникой. Там горки хорошие, с горки на горку бегать —

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.